

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

СТРЕЛЫ 6

\$3.50

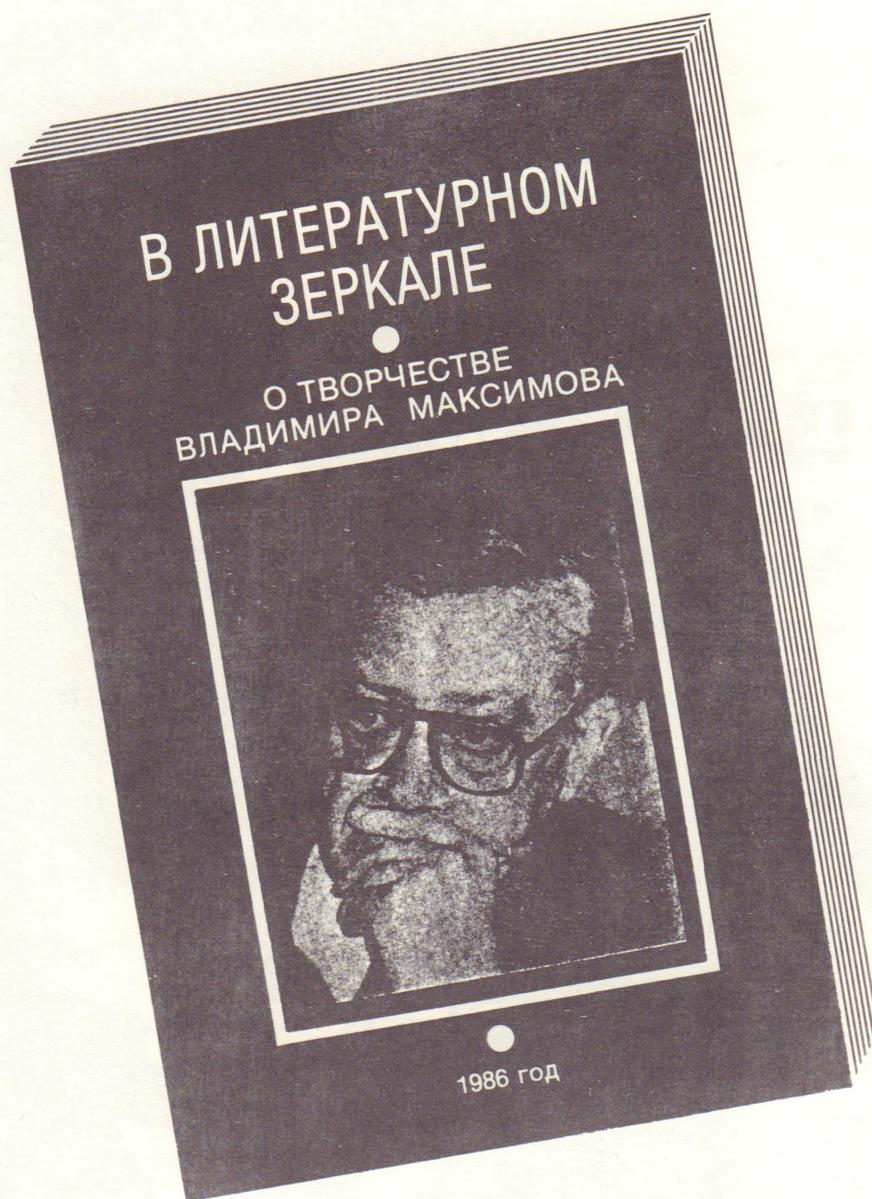
ИЮНЬ 1987



Николай Гумилев
(1886-1921)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ТРЕТЬЯ ВОЛНА»
предлагает новую книгу

272 стр. \$ 15.50



Заказы и чеки посылайте, пожалуйста, по адресу:

ALEXANDER GLEZER.

286 Barrow Str. Jersey City, N. Y. 07302.



Директор
МАРИ КОШЕН

Главный редактор
АЛЕКСАНДР ГЛЕЗЕР

Художественный редактор
ВИТАЛИЙ ДЛУГИЯ



Фото:
АРТУР ВЕРНЕР
НАТАЛЬЯ ШАРЫМОВА



PUBLISHERS. Third Wave Publishing house, a project of
(C A S E) the Committee for the Absorption of
Soviet Emigrees, 80 Grand Street
Jersey City, New Jersey 07302
Arthur Abba GOLDBERG, Chairman

Адрес редакции в США:

ALEXANDER GLEZER
286 Barrow St., Jersey City, NJ 07302
U.S.A.

Адрес редакции во Франции:

Alexandre Glezer
Chateau du Moulin de Senlis
91 230 Montgeron
France



Цена номера — \$3.50 28F. 9D.M.
Годовая подписка — \$36.00 336F. 107 D.M.

Просьба добавлять на пересылку \$1

Подписчикам журнал доставляется
за счет редакции

THIS PROJECT IS DONE AS A PUBLIC SERVICE BY THE
COMMITTEE FOR THE ABSORPTION OF SOVIET
EMIGREES FOR RUSSIAN SPEAKING INDIVIDUALS
THROUGHOUT THE WORLD INTERESTED IN THE CAUSE
OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOM FOR INDIVIDUALS.
FOR ADDITIONAL INFORMATION CONTACT BELLA
VOLFMAN AT 80 GRAND STREET, JERSEY CITY, NEW
JERSEY 07302. PHONE #201-332-7962.

© 1986 by Committee for the Absorption
of Soviet Emigrees. All rights reserved

Library of Congress Catalog Card
No; 84-8582 ISSN: 0747-7287

- 4 ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ — ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ
6 ЮРИЙ МАМЛЕЕВ — ШАТУНЫ. РОМАН.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
13 МОШЕ ЛАНДБУРГ — ЗАВЕЩАНИЕ. НОВЕЛЛА
16 ЮРИЙ КОЛКЕР — ИЗ ДНЕВНИКОВ ПИЛИГРИМА.
ИЗ КНИГИ EX ADVERSO. СТИХИ
18 МИХАИЛ ГЕЛЛЕР И ВЛАДИМИР МАКСИМОВ —
БЕСЕДЫ О СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЯХ.
ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ
21 БОРИС САДОВСКОЙ — ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ МОЕЙ.
ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСКИ ГВАРДИИ КАПИТАНА
А.И.ЛИХУТИНА
26 ИНТЕРВЬЮ С БАХЫТОМ КЕНЖЕЕВЫМ — «МЫ
ДОЛЖНЫ ОЩУЩАТЬ СЕБЯ ПОСТОЯННО ЧАСТЬЮ
РОССИИ...»
31 НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННОКОВ
41 ЕВГЕНИЙ НАКЛЕУШЕВ — К ОСМЫСЛЕНИЮ
ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ МОНОТЕИЗМА
45 ВЫСТАВКИ, ВЫСТАВКИ, ВЫСТАВКИ
46 ВИКТОР СОРОКИН — КАК ПРОИЗОШЛА
РЕВОЛЮЦИЯ В ФИНГАЛИИ



ОТ РЕДАКЦИИ

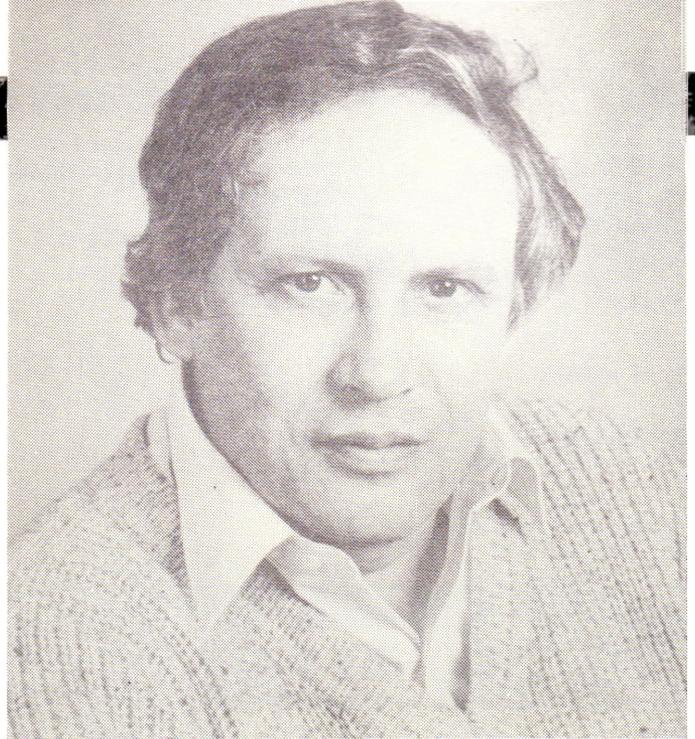
Недавно в США гостила и с огромным успехом выступала в Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Лос-Анжелесе и Сан-Франциско Белла Ахмадулина. В ближайших номерах журнала будут опубликованы ее новые стихи и интервью с ней.

ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ

два стихотворения

БОЛЬШОЕ ЯБЛОКО

*«Из ядущего вышло ядомое,
и из сильного вышло сладкое»
Кн. Судей 14-14
Американцы прозвали Нью-Йорк
Большим Яблоком*



Рабство отхаркав, ору:
— Здравствуй, Манхаттн!
Дрын копчёный, внушительный батька-Мохнатый,
принимай ко двору.
(Реет с храпом
яркий матрас на юру
Ночью — звёзд, и румяных полос — ввечеру
он от пуза нахапал.)

Крепкий подножный утёс
выпер наружу.
Нерушимую стать мускулисто напряжив,
будь на месте, как врос,
каменный друже.
Твой чернорёбрый торс
встал на мусоре Мира в нешуточный рост.
То-то вымахал дюже.

Стóбит, наверно, утрат:
Родины, дома, —
на громады великого града Содома
этот вид, этот взгляд.
Мозгоподобно
кодами окна горят.
Подсмотревшего тайну снедают подряд:
робость, похоть, стыдоба...

(Словно смакуешь во сне
свинскую сладость.
Да, порочен и слаб, и с собою не сладил, —
спелся только сильней.)
Слабый-неслабый,
а за себя не красней.
«Ты есть ты», — прямо с неба абзацам огней
вторят быстрые слайды.

Сожран, а все же не мёртв.
Жив, и немало...
А ядущий да будет ядом до отвала!
Тот, кто примет, — поймёт:
враз разорвало
льва-монолита вразмёт.
Вижу — рой в этом трупе, и соты, и мёд.
Сладким сильное стало.

В старые мехи вобрывь
сочное соло;
залезай-ка туда же с возней поросёвой, —
в жадно-свежую грызнь.
Будь новосёлom,
и зарифмуй с парой джинс:
жри-ка яблоко по черенок, это — жизнь,

че
р
в
я
чок ты весёлы й!

ОТЕЛЬ

Вот это облако босое
и белое, как царь, как Одиссей,
над кукурузою и соей
уже доплыв досель,

до саблезубого Чикаго
(а небоскрёб —
что сахарный мосол),
на морду озера, — ни вата, ни бумага, —
наплюнулось, и всё...

Исчезло? Нет, — сгорает однобоко:
накучерявлена, одна щека горит.
Его убудет ли у Бога, —
останется отель у города Харибд,

что так и гложет лакомые туки,
высасывая мозговую кость,
шикарный хрящ архитектурной штуки...
Пахнуло вдруг, и пошатнулся гость.

И пыхнуло: не хватит ли кондратий?
(О, только не сейчас!), (не здесь!)...
Но то, что пищик пройдёт:

И — не надейся...! о нет, и нет, в квадрате!

А — дюжиною воспаряясь лифтов,
на семь частей распятерясь
в разнонаправленно-разлитых
пространствах, — выйдешь ли на связь?

На: собственно, — гетерополовую?
(подванивает холодком),
шпионскую?... Или еще —

Откудова и кубырь — кувыркоком?
через пардон — какую? —

(Но пазуха в отеле, — как рубаха:
что тут — уют, через этаж — мотыль!
Термитный прах... Ремонт И рядом — похоть паха.
И — вакуум, где — пыль.)

(Украдкой — кокаин благоуханно
просыпан прямо на ковёр;
под дверь, как выхухоль, —
И тут же — (нет!), как вор... нюхнюх: марихуана...)

И тут же, да, — долдонят, поджидают;
но встреча — не с руки:
один — жирноулыбчат; с ним — гидальго, —

трагикомические старики,
коми-трагические, фарсо-драмо-
лирические, так сказать...
(и некто босиком

до лифта перепрыгов пять.)

У одного — белопечален облик,
(и в пику вставлено перо),
но жизни — оному — в обрез, как и у облак,

которым исчезать порой пора.

Истаяло... Такое — как случилось?
Пропало облако, пока я лопотал, —
в пучину ли его ушли,

и (кто-то) по пятам... в ничто, или на силос,

(Путем протоптанным, но всё же новым,

когда ни-ни назад);
и поневоле в том как бы и ты — виновен...

А — как? Да и: кому сказать?

Встал, выключил муру...

Темнело.

Под потолком просеребрился мотылек.

И судорогой точечного тела

он что-то пепельное прочертил

(как бы... изрёк?).

Откуда — моль?

Хлоп-хлоп, но мимо...

Вот-вот, и тут, и — там, и — нет в момент!

— Не трогай! То — душа,

что только так и — зрима...

— Посмертно, а сорвал аплодисмент!

Урбана, март 1986

Примечание автора. Никакие конкретные люди, живые или мёртвые, здесь не подразумеваются. Но — лишь образы...

Юрий Мамлеев



РОМАН В 2-Х ЧАСТЯХ

ШАТУНЫ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

После того как Федор покинул Клавин уют, он вскоре поехал по делу, на север, в глубь России, к Архангельску...

И даже мельком не вглядывался в людей: ум его чаще был занят Анной и чем-то еще, как всегда жутким и неопределенным.

Иногда же, когда вглядывался, то люди казались ему не живыми загадками, которых надо убивать, чтобы в некотором роде разгадать их тайну, а наоборот, уже готовыми светящимися трупами, без всяких тайн. «Сколько мертвцов», — подумал Федор на вокзальной площади, заполненной двигающимися толпами. Два раза он, ради детского любопытства приподнимая голову, явственно видел внутри живого, закопченного воздухом, человеческого мяса светящиеся синим пламенем скелеты.

«Еще схватят за горло», — простодушно думал он, глядя на истерически говорливых, деловых мужчин, рассуждающих о паровозе.

В вагоне он поразил живую, чуть боящуюся своих мыслей девушку, своим долгим, бессмысленным взглядом.

Она почему-то решила, что он хочет есть и предложила ему бутерброд.

Федор же окаменев, смотрел в окно: мимо него мелькали хватающие своей тоскливостью необъятные поля, заброшенные домики; иногда казалось, что все это вот-вот должно исчезнуть или провалиться сквозь землю.

В душе Федора был покой, как мертвенная глыба; и даже во сне ему виделись одни камни. Бодрствуя же, он слушал свой живот, словно он был единственно живым в нем; вкушал его переливы, погружая в бездонную плоть душу; но от присутствия сознания мертвел даже его живот.

Чувствительной девушке, сидящей около него, казалось даже, что он думает животом, а голова у Федора так, для видимости. Он притягивал своим животом окружающих, как будто его живот был мертвенный храм, втягивающий в себя.

Хорош же был его вид с сумрачным, колыхающимся, в темных мыслях животом и совершенно рудиментарной, как пятка, как кусок мяса головой...

В стук Федор доехал до нужной станции Д. Сознание как будто возвратилось ему в голову, но от этого голова сдела-

лась совсем странной, и даже как бы блуждающей. Таким Федор и оказался в этом пронизанном ветром и шатающимися людьми городке. Непомерно большая, особенно по сравнению с маленькими, уютно-одноэтажными домиками, площадь служила также местом остановки автобуса, на котором Федору нужно было доехать до ближнего, смешного аэродрома, а оттуда лететь на самолете в Р, куда иначе, по бездорожью нельзя было и добраться. Но два дня Федор прожил около этой площади, окуная свое лицо в канавы и дорожки около домов. Один раз ночью, проснувшись, он дико завыл под окнами одного домика; и жильцам почему-то снились одни ангелы.

Наконец, Федор забрался в грязный, полуразрушенный, нелепо-трухлявый, битком набитый автобус. Водитель — здоровый, лысый, шальной детина — сначала повел автобус резво, бешено, словно норovia на тот свет. Но, очутившись за станцией, на пустынной, полу-лесной дороге он повел автобус так, как будто все время спал. Детина громко, на весь автобус зевал, харкал в потолок, но люди застыли, погруженные в себя.

Федору даже показалось, что это не автобус, а мчащийся на колесах молельный дом. Видимо, каждый молился здесь своему одиночеству. Только шофер был чересчур боек: нелепо смотрел по сторонам, вертелся, да и руль под его лапами еле держался. К рулю он скорее относился как к месту, чтобы облокотиться.

Так в покое Федор проехал половину дороги. Изредко, словно слезы засохшего божества, моросил мелкий, севернорусский дождик. Водитель вдруг остановил машину и выпрыгнул из нее. Угрюмо, с земли, подошел к сидящим в автобусе пассажирам.

— Выпитьто никто не желает? — тупо спросил он.

Пассажиры мутно зашевелились, но, видимо, к этому уже давно привыкли. Однако охотников до водки, как ни странно, не нашлось, правда, в автобусе сидели одни бабы да старички.

— Ну подождем малость, пока я опохмелюсь, — проговорил водитель и, вынув из кармана бутылку водки и колбасу, расселся на обочине дороги.

Пассажиры чуть-чуть приуныли, кто-то запел. Выпив водку, водитель опять подошел к пассажирам.

— Ну я посплю пока, потом поедем, — лениво потянулся он.

Все молчали.

— Да как же, я на аэродром опоздаю, — пискнула старшук с тремя корзинками.

— Не опоздаешь, — сурово оборвал ее водитель. — Самолет сам скорее тебя опоздает. Он на расписание не смотрит. Эва, опять на небе солнышко...

И водитель пошел под дерево — спать.

— Таперя он надолго, Петряй. Вон другой шофер, Костя, так он мало спит во время рейсу, — проговорил какой-то старичок из местных.

Автобус стоял недвижим, водитель спал под деревом, а пассажиры разбрелись: кто ходил вокруг автобуса, кто пошел в лес по грибы.

— Не заблудились бы! — истошно крикнула рваная старушонка.

Федор тоже вошел в лес, но долго стоял около дерева. В уме скелетов больше не было, была Анна...

Днем добрались до аэродрома — огромного пустыря, напоминающего площадь на станции, только без домишек по краю. Два-три покореженных самолета стояли на земле. Нужный самолет действительно еще не прилетел, опаздывая часа на четыре, и на аэродроме, как на лужайке, образовалась очередь около пустоты. Старушка с тремя корзинками норвила первая. Дед пел песни. А Федор никого не видел: иногда вместо людей в сознании выплывали столбы. В воздухе летали и хлопотно каркали мокрые, черные птицы.

Наконец, появился и самолет: маленький и казалось готовый вот-вот развалиться. Вид у него был еще невзрачнее грязного автобуса. Народец радостно полез в машину, полупьяный летчик погонял: быстрее, быстрее. Набитый самолетик поднялся вверх, к воронам. Сквозь наружную стенку пассажирам слышались мат и пьяное уханье летчика, разговаривавшего с кем-то по радио. В высоте отвалилась и полетела к земле дверца пассажирской кабины. «Как бы не вывалиться», — испуганно подумала рваная старушонка и отодвинулась от образовавшейся пустоты.

Федору захотелось равнодушно высунуть в эту пустоту лицо.

Между тем летчик ругался с кем-то, наземным, по радиации:

— Не буду я на этот аэродром садиться, — бормотал летчик. — Я Солнечное пролечу, а сяду... Сегодня я в Солнечном не опущусь.

С грехом пополам самолетик опустился на траву, около Р.

Обалдевшие, но в суете, пассажиры высыпали наружу.

— Дальше пока не полетим, — угрюмо предупредил летчик. — Бензин кончился. Вот к председателю в деревню схожу: он даст... Мы у него бензин меняли на водку.

Народец, точно зачарованный, расселся где мог. Но Федор был на месте, у цели.

— Машина хорошая, все выдержит, — сказал на прощание летчик и пнул самолет ногой, как телегу.

Федору равнодушно-нравилось такое отношение к технике; сам он почти не замечал существование машин.

В местечке Р. Федору нужно было завершить свои кой-какие денежные дела.

Дальний родственник-старичок, из местных, похожий на бабу, сначала махал на него тряпкой и норвил убежать в лес. Но Федор не отставал, держа его за рукав. Спал на полу,

в избе, недоверчиво шурясь от мирского света, пряча голову вниз, во тьму. Изумлял он также тем, что играл с маленькой, иссушенной девочкой в прятки.

Дико было видеть его, огромного, точно заслонившего собой солнце и в то же время прячущегося от неизвестно чего...

В поле, около домов, молодежь еще до сих пор играла в бабки. Для безобразия Федор и сам готов был поиграть. Молодежь шарахалась от тяжелого, угрюмого и серьезного выражения его лица. С таким видом он и играл в бабки. Да еще мертво сопел при этом. Домой, в избу, возвращался один, нелепо осматриваясь, провожаемый воем бездомных и точно чужащих его кошек.

II

Наконец, Федору удалось закончить свои дела. Утром, один, навстречу восходящему солнцу, он пошел на ближайшую станцию. Соннов уже давно не относился к солнцу, как к солнцу: оно казалось ему мертвенным, опаляющим, вымершим изнутри существом, совершающим свой ход для других. И ему было приятно греться в этих лучах смерти, впитывать тепло от погибшего для него существа.

Иногда он останаливался и грозил солнцу своим огромным, черным кулаком. В этот миг он казался самому себе единственно существующим во вселенной и способным раскидать весь приютившийся хлам.

Но, когда он опять оказался среди людей, в суете, их присутствие снова стало томить его. Они, конечно, не подавляли его бытие; нет, он по-прежнему чувствовал себя самодавлющим, но одновременно они странно раздражали его своей загадочностью и иллюзорностью; и вместе с тем весь мир от них становился иллюзорным.

Это уже была не та добротная, щекоцущая и какая-то реальная иллюзорность, с какой Федор иногда ощущал себя; это была мутная, внешняя иллюзорность, которую страшно было перенести на себя и которая нуждалась в активном преодолении. Одну старушонку в поезде Федор даже больно ушипнул за ляжку. Она вскрикнула, но Федор тут же, наклонившись, так посмотрел в ее лицо, что старушка почти исчезла. Раздражать Федора стали даже животные; на одной остановке, у колодца, он поленом проломил голову лошади. И, скрывшись, долго смотрел из окна пивной как убирали труп этой лошади. Ближе к Москве, в городишке Н, вдруг почесал жирно-извивную шею подвернувшейся молодой женщины.

Между тем Федора опять мертво и по-старому тянуло убивать. Покачиваясь в вагоне электрички, он мысленно выбирал подходящие жертвы. Не то что он совсем уже ошалел и рассчитывал убивать где попало, но он просто совершал своего рода психологические упражнения: кого бы он убил с удовольствием, а кого — без.

Мертвых и отвратительных, бездарных существ ему не хотелось трогать; его больше тянуло на одухотворенные, ангельские личики; или необычные: извращенно-испуганные. Одну склизкую, жирно-молоденькую дамочку, вздрагивающую от страха перед бешеным движением поезда, ему особенно захотелось задушить прямо здесь, за горло, в этом темном углу, в котором она думала схорониться; прикончить и потом заглянуть всем ликом своим в ее мертвые, стекляющие глаза, в которых, может быть, отразится весь

внутренний ход ее жизни, теперь исчезающий в вечность.

Затем, на станции — в столовой — у Федора возникло адское желание живьем содрать кожу со смачно жующей, перенаполненной женщины, сидящей к нему спиной. Содрать и посмотреть, как она будет есть, обнаженная-мясная, без кожи. Его даже чуть напугало это желание, не имеющее прямого отношения к его идее-убийству. Федор встал и вышел на площадь, в пространство. Немного побродил, быстро войдя в свое обычное состояние.

Навстречу то и дело попадались люди и они привычно раздражали своей оторванностью от его собственного существования. «Ишь, кроссвордов сколько Господь на свете поставил, — думал он, смачно сплевывая и внимательно вглядываясь в лица прохожих. — Говорят, ходят, и все без меня... И вроде такие же, как я... Хм... Загадка... Смыть бы их всех... туда... в пустое место».

Не только смерть была его душою, но и общая загадочность чужих существований. Вернее, все это было связано в единое, необъятное и недоуменное отношение к внешне-живому, к людям.

Вскоре Федор утомился и юркнул в местную электричку.

Родные, таинственные, вечно-русские поля и леса, мелькающие в окне, казались ему, оглушенному, своим миром, чуть истеричными, сдвинутыми даже в своей покинутости и нирване.

Соннов знал куда ехать: в «малое гнездо».

Это было местечко Фырино, далеко в сторону от Лебединого. Там, в захудалом домике, жила сморщенная, почти столетняя старушка Ипатьевна, по слабоумию питавшаяся кровью живых кошек, но очень обожавшая Федора. Слабоумна же Ипатьевна была только в земном, пустышном значении; на потустороннее же глаз имела вострый и не закрывающийся. Клавуша считала, что она — очень надежна и даже приходится им дальней родственницей. Недаром Федор многое не скрывал от нее... По дороге от станции, по лесу, Федор заглянул в глаза проходящему по грибы мальчику, который надолго остолбенел от этого взгляда.

Домишко старушки Ипатьевны был в центре, но до того худ, что готов был вот-вот рассыпаться. Напротив был сумасшедший, полу-непонятный базар из трех скамеек, на котором — по внутреннему ощущению — продавали одну пустоту, хотя вокруг скамеек толпилось много народу.

Ипатьевна встретила Федора страшным, нутряным криком; ринувшись из черноты полунежилых, развалившихся комнат, она бросилась ему на шею; Федор, своеобразно трянувшись, приголубил старушку.

В ее комнате стояла одна кровать, рыхлая и нищая; все было в грязи, но на полу, где обычно стоят банки с ночной мочой, стояли также банки со свежей кошачьей кровью; из-под кровати выглядывало худенькое, испуганно-искаженное личико мальчика-соседа, за гроши поставившего Ипатьевне кошек.

В другой комнате, с обвалившимся потолком, у стола, при свечах, втроем, они отпраздновали свою встречу. С пола мяукнула и заглянула Федору в глаза огромная и осторожная кошка-донор. Но Федор был отчужден даже от странных животных. Пошевелив мальчика, он пошел спать во тьму, на сеновал.

III

На следующий день Федор вышел в свет, на просторы,

Утренняя чистота охватила его плоть, проникая во внутрь, в легкие. Но Федор думал об одном: об убийстве.

— Радость великую ты несешь людям, Федя! — прокаркала ему вслед старушка Ипатьевна.

Но свежесть, казалось, похороила все потустороннее; птички, щебеча, весело вылетали почти из-под ног Федора.

Соннов сел на утренний, почти пустой автобус, и проехал несколько остановок до деревушки Петрово. Воспоминание влекло его. Здесь, в лесу, вернее в заброшенном дворянском парке, неподалеку от единственной, нелепо оставшейся скамейки, несколько лет назад он убил задумчиво читающего про себя стихи юношу. И кажется, потом укусил его в шею...

Федор неповоротливо вылез на остановке и огляделся: та же или чуть непохожая дорога вела в близкий, наступающий лес.

По пути ему попались двое мужчин с маленькой семилетней девочкой; глаза у нее были словно вставленные с неба. Федор загрустил: такую он непрочь был убить.

Вообще свои жертвы Соннов делил на обычных, «раздражающих», которых он убивал только из общих свойств своей души, и на «благословенных», которых он к тому же еще любил, испытывая к ним, пока они были живы, сквозь угрюмую и нездешнюю душу какое-то томное влечение.

Но уже убитых, ушедших «в пустое место» — обычных или благословенных — Соннов любил всех, уже другой, ровной, сладостной, почти религиозной любовью. Как только человек исчезал, убитый им, то из предмета раздражения и загадок он постепенно превращался для Федора в тихое, святое, хоть и непонятное существо. Федор надеялся на его заступничество на том свете.

По всей Рассеи были разбросаны Федоровы «святые места», где на месте убийства Федор воздвигал как бы невидимые храмы, часто молясь там за самого себя. Да и в отсутствии, в дороге ли, в уединении Федор не раз с умилением обращался к убиенным, просил их о помощи, земной или небесной.

«Как то они меня там встретят», — облегченно вздыхал он и их присутствие на том свете было единственной причиной того, что Федор иногда сам порывался на тот свет. Он почему-то считал, что они гарантируют ему личное бессмертие.

«Радость великую ты несешь людям, Федя», — вспомнил он сейчас, добредя до скамейки, слова Ипатьевны. В воздухе или в воображении носились образы убиенных; они становились его ангелами-хранителями.

Федор, разогнав свое сознание в каждые уголки тела, отдышал; иногда своеобразно молился, похлопывая себя по ляжке. Не каждый раз ему выпадали такие минуты; он берег их, наслаждаясь своим умилением... Обычно они прерывались, резко и внезапно, и Федор оказывался в своем постоянном, полупомешанном состоянии.

Так произошло и сейчас: ангелы-хранители вдруг исчезли, лес давил своим существованием, и Федор начал сопеть в пустоту. Оглянувшись, удовлетворенно встал и погрозил кулаком, в небеса... Разрыхляясь пошел в глубь, в лес, в сумасшествие... Все родное, привычное уже жило в груди... Плутая по тропинкам, заходя все дальше и дальше, Федор жаждал убийства.

Наконец, когда он уже терял надежду найти что-нибудь живое и сознательное, за кустарником, на пне, он увидел

сидящего пожилого человека, внутренне напоминающего старика. Он был худ, длинен, немного сед, и лик имел благообразно-ужасный, словно молящийся Дьявол. Впрочем Соннов не застревал на его лице. Осторожно убедившись в одиночестве человека, он крупным, решительным шагом, слегка пошатываясь от нетерпения, пошел к нему. Морду свою Федор выпятил вперед, на жертву, и, ничуть не скрываясь, вынул из кармана огромный, заржавленный нож.

Человек, увидев Федора, встал с пня. Не двигаясь, чуть раздвинув ноги, он, хмуро и отсутствующе подозрительно смотрел на Федора, понемногу понимая, что этот неизвестный хочет его убить. Федор приближаясь, глядел внутрь жертвы, пытаясь выковырять сущность. Внезапно, когда Соннов был уже недалеко, человек резко скинул с себя портки вместе с нелепыми подштанниками и, повернувшись, чтоб было виднее, показал Федору свое нижнее место.

От неожиданности Федор замер и совсем уже был поражен, когда увидел, что у этого мужчины нижнее место — пустое. Ни члена, ни яичек не было. Тем не менее мужчина выставлял свою пустоту напоказ и даже старался, чтоб до Федора все дошло. Соннов выронил нож из рук.

— Михеем меня звать, Михеем, — промычал мужчина, полуголо передвигаясь к Федору и протягивая руку. — Михеем.

У Соннова вдруг пропало желание его убить; он, замороженный, смотрел на нижнее пустое место. Михай в свою очередь вдруг как-то сразу почувствовал, что его не будут убивать. Не надевая порток, он присел на ближайший пенек. Федор расположился рядом, на земле.

— Ну, закурим, — сказал Михай миролюбиво.

Федор обмяк и даже заинтересовался всем этим. Вынул из кармана помятую пачку сигарет.

— Что ж это у тебя от рождения? — угрюмо выговорил он, глядя на нижнее место.

— Да нет, просто так... Сам оттяпал... Потому что надоело... скакать по ночам.

— Как надоело?

— Да так, надоело и все. Сам и с Божьей и людской помощью и оттяпал в сарае. А Ванюшка прижег.

Федор встал, отошел и со злобой отбросил нож ногой далеко в сторону. Михай смотрел на него удивленно-радостный. Его благообразно-подвижное, значительное лицо щерилось в поганой улыбке.

— Да ты никак наш?! — спросил он у Федора.

— Как это ваш?

— Да так, оттудава, — и Михай сделал замысловатое движение рукой, показывая не то себе на голову, не то глубоко под землю.

Из лесу возвращались почти друзьями. Михай ничуть не боялся Федора; наоборот, теперь после встряски, он выглядел степенно-значительно и как-то мудрено; благообразный, он в чем-то поучал Федора. Соннов слушал его с мутным, видимым удовольствием. Один: длинный, в седине, сумасшедше-благостный, другой: пониже, коренастый, с волчьим-понимающим лицом — такими они шли по дороге, к деревне. Осторожные, крикливые люди обходили их тропкой. Через час они уже сидели в грязненькой полупивной, около остановки автобуса. Михай жил один, недалеко, в соседнем селе-пригороде. Но Федор звал его к себе, в малое гнездо. Отсутствующе-благообразное, без закорючек, лицо Михея

утешало его. «Не человек, а одна видимость», — с удовольствием думал Федор.

— А может быть ты сектант? — вдруг спросил Федор после первой кружки.

Лицо Михея сморщилось.

— Ууу, тьфу, — он сплюнул. — Я сам по себе. И отрезал, потому что мне надоело, а не из-за умствования. Знаю я этих сектантов — тьфу... Мичтатели... Они меня за своего принимают. Если хошь, — Михай харкающе наклонился к лицу Федора, — я покажу тебе их... тут... Неподалеку... Я знаю... Только тсс... в секрете...

Федору явно хотелось пообщаться с Михеем; потому в конце решили встретиться завтра, здесь, у остановки, а пока разойтись по норам.

На следующий день Федор аккуратно, съжившись, подждал Михея на условленном месте. первый раз в жизни у него появился вроде как друг.

Михей показался издали; шел пьяно, пришаркивая ножкой, но лицо было значительно.

— Может, в церкву сначала зайдем? — осведомился Михай у друга.

— А нешто здесь есть? — недоверчиво пробормотал Федор.

— Есть, есть; не на пустом месте живем, — прошамкал Михай и потянул Федора вкось, в проулки...

...К вечеру надо было идти к сектантам. Но сначала прошли к Михею, в дом. В его комнате было почти пусто; рваная кровать хоронилась в углу. На табуретке лежала селедка и книга. Федор со своим неожиданным дружкой стал чаевничать. Пар от кипятка заволакивал их лица. Федору все больше и больше нравился Михай: «незаметный он и все время уплывает», — думал Соннов. Личико Михея от чаю как-то невидимо покраснелось и он действительно, вместе с сознанием своим, куда-то уплывал. Федор угрюмо разнеживался, точно с его суровой, твердой, как камень души, стекали капельки расположения. Но все-таки вид его был дико-отчужденный, особенно, когда он смотрел в окно. Михай осторожно встал и улыбочиво, нежно прикоснулся к плечу Федора: — Убить меня хотел, но погнушался, как я показал, раскинувшись... Сердечный.»

Михей вообще очень любил, когда им гнушались; это доставляло ему большую радость и независимость. Не раз он обнажал свою пустоту на людях, любясь собой и их отвращением. А на этот раз «обнажение» спасло ему жизнь. Михею так нравилось об этом вспоминать, что все время блаженно скалил зубы и подхихикивал. Ему пришло в голову и в дальнейшем защищать свою жизнь таким странным образом, особенно от бандитов.

К Федору же он чувствовал такое благорасположение за содеянное, что считал его неким богом самим по себе, хотя иногда ласково его журил.

Под вечер друзья совсем разнежились.

Михей рассказал Федору о своих странных отношениях с сектой скопцов, которая в «большой тайне» образовалась в этом пригороде-селе; потому он и сам здесь поселился.

Михей совершил изуверие еще до своего знакомства со скопцами, «независимо», «по своей волюшке и хотению». Но случилось так, что об этом пронюхал жирный, с вывороченными глазами скопец, который решил, что Михай это сделал «из умствования», по «ихнему». Михай для благообраз-

ности со всем соглашался и ненароком проник в потаенную скопическую секту, найдя там уют.

Сам Михей к секте относился иронически, считая скопцов не «белыми голубями», как они себя называли, а воробышками; Господа или Творца вселенной Михей, обтирая крошки со рта, любовно называл «хозяином», но внутренне считал, что он сам не имеет к Творцу никакого отношения. А о скопцах-сектантах говорил так: «это они все для Хозяина свой член обрывают...А я сам по себе, я свою особую загадку имею и по ней решаю, что мне обрывать, что оставлять». Но все-таки к скопцам он относился безвредно, жалеючи их. Остальных же людей Михей почти не признавал.

Оказалось, что Федору повезло: скопцы почему-то очень доверяли Михею и он заранее договорился, что приведет на радения, поручившись за него, своего старого друга, которого Михей представил как «духовного скопца», то есть фактически члена секты, но другого «корабля» и другого направления.

Жуткий и свирепый вид Федора мало напоминал вид «духовного скопца» или «белого голубя», но Михей любовно причесал Федора, стараясь придать его макро-изуверскому лицу благостный вид. Потом сказал, что сойдет.

Под ночь, когда все село спало, Федора с Михеем впустили чрез калитку невероятно высокого, словно вечность, забора, во двор одного дома, хозяин которого был «главный» скопец. Узкая, временами теряющаяся тропинка вела вглубь сада, в скрытую, черную баньку. Здесь в спертom помещении с маленьким одиноким окном происходили радения.

Михей пошептался с человеком, развалившимся на скамейке, перед банькой; представил Федора, который, ослабившись, прошипел несколько терминов, сообщенных ему Михеем.

Нагнувшись, Михей с Федором прошли внутрь. Оказывается радение было в полном разгаре и на вошедших не очень обратили внимание. В углу виднелись православные иконы; а между ними, в центре, портрет самого «родимого батюшки», «вторично пришедшего Христа» Кондратия Селиванова.

Лицо старца выглядело умиленным; в руке — белый платочек; казалось Кондратий — с того света — любитесь своими «детушками» и, глядя на них потусторонними очами, радует свое сердце.

Между тем сектанты — их было человек семь — липко вертели на одном месте; извивались лишенными детородных частей телами; белые их рубахи развевались, как саваны; желтые, высохшие лица, освещенные мертвенными, восковыми свечами, ползли вверх, к Господу; пот заливал дрожашую, точно сползающую кожу; глаза вылазали из орбит, пытались поймать загробный взгляд Кондратия Селиванова. Кто-то визжал:

Скачу, скачу, скачу

Христа ишу, ишу! — и на четвереньках скакал по углам, обрывая пустоту.

Михей сидел смирехонько, на скамейке, сложив ручки, с благостно-блудливым выражением лица; к его тихой роли видимо привыкли. Соннов сидел рядом мертво поворачивая голову по сторонам. Около его ног прополз взмокший, судорожно-сморщенный старик со строгими глазами.

Ползу, ползу, ползу

Ко новому Христу! — сердито шипел он, волочась по полу.

Из-под узенького окна раздался визгливо-небесный, истеричный бабий голос:

Как у нас на Дону

Сам Спаситель на дому,

И со ангелами,

Со архангелами.

Голос замолк, а потом в баню вползла точно сгоревшая, дрожашая женщина, почти голая; груди у нее были отрезаны, зато виделись засохшие черно-красные раны-рубцы.

Федор сначала тупо глядел на молящихся, потом вдруг все исчезло, и ему показалось, что его существование заполнило собой всю эту баньку и даже вывалилось во вне, на пространство; больше никому не осталось места.

Он опомнился только тогда, когда все было кончено.

Михей схлопотал где-то в доме чайку и занес с каким-то детинной стол; покрыл его белой скатертью; тут же появились и принадлежности чаепития: самоварчик, чашечки.

Усталые, потные, но миролюбивые скопцы благодушно расселись попить... Один Федор молчал, чем навел на всех мысль о своей недоступности.

...Утром, возвращаясь с Михеем по шоссе, Соннов пел себе под нос какую-то суровую песню. Это был показатель хорошего настроения.

Правда, скопцы произвели на него весьма жалкое впечатление. К тому же все общее, объединяющее людей казалось ему глупым и детским.

«Свое, свое надо иметь», — глухо бормотал Федор, отбрасывая ногами подворачивающийся мусор.

Вспоминал об Анне, о Падове. «Эти вот люди...». А «свое» он чувствовал таким необъятным и громадным, что ему было трудно его с чем-либо сравнивать...

— Все-таки это лучше совсем обнаковенных... Кто в школу ходит, — прошамкав, проговорил Михей.

— Ну об этих мы и не говорим. Это просто грибы, — ответил Соннов.

Наступал новый день. Насчет убийств Федора немного отпустило. А когда все он подошел к покосившемуся домику старушки Ипатьевны в окне виднелась человеческая фигура. То был Анатолий Падов.

IV

Как только Падов — почти месяц назад — приехал в Москву, покинув Лебедино, то, чтобы подкрепить свои силы пред ужасом жизни, он бросился на кладбище, около В. Здесь его уже давно знали. Могильщики приветствовали Толно радостными, мертво-утробными криками. Несколько дней он провел у них, пьянствуя, помогая рыть могилы, ночуя где-то по закуткам, чуть ли не в самой церкви. Могильщики — простые, скудоумные, но уже тронутые углом тления ребята — считали его «беженцем». Им очень нравилось, что он рыл могилы хохоча.

На этот раз Падов уговорил их оставить его на одну ночь в подвале вместе с покойницей, молодой, блаженной девушкой лет семнадцати. От радости Падов так напился, что эта ночь прошла не совсем на уровне.

Все же он при свечах читал по памяти стихи Блока над ликом отошедшей; щекотал ей пятки; с лупой всматривался в глаза.

Наутро девушку хоронили; Падов шел за гробом и рыдал: до того нестерпим был внутренний хохот; к тому же ему

теперь истерично казалось, что именно эта девушка уведет его в «Елисейские поля». Девушка и правда даже в гробу выглядела сексуально, конечно с мистическим оттенком. Под конец он чуть не подрался с одним неказистым, исключительным могильщиком, почему-то принимавшим всех покойников за себя. За свою трехлетнюю службу этот могильщик совсем ошалел, полагая, что все время хоронит самого себя. Он даже не понимал где и в каком состоянии сейчас находится, так как считал, что с каждой новой смертью уходит в следующий загробный мир и таким образом оказывается на том свете в степени, примерно равной числу себя-покойников, которых он хоронил.

Естественно, он думал, что невероятно удален от мира.

Однако приставание Падова к мертвой девушке, наглое и беспрецедентное, он принял на свой счет. (Могильщик решил, что в лице покойницы Падов хочет переспать с ним самим.) Из-за этого и произошел инцидент. Крикливая история, впрочем, еле замялась; но Падову она принесла большую радость и успокоение.

Чтоб совсем закрепить жизнестойкое состояние, Падов стал ездить на бойню; здесь, подружившись с резунами, он подставлял свой рот под теплую, живую кровь тела, выпивая в день по две-три кружки крови.

Это немного утешило его, но ненадолго. Общество своей души и людей того же мира терзало Падова. Он боялся, что сойдет с ума.

Поэтому метаясь, он заехал в Лебединое и, не найдя Федора, получил от Клавы какую-то записку и адрес «малого гнезда».

Рано утром он и оказался в этом малом гнезде. Ипатьевна встретила его дружелюбно и обласканно, словно свою кошку. А когда пришел Федор, Падов, внимательно всмотревшись в него, ужаснулся.

Федор тотчас его узнал, каким-то убудочным взглядом просмотрев насквозь.

Молча взял записку от Клавы, развернул ее, увидел знаки, и не раздеваясь, в портках, завалился в постель.

Федор иногда любил спать одетым, словно ему нравилось отчуждение от сна. Тело его в это время лежало неподвижно, а голова ворочалась, как живая...

Ко дню все трое — Федор, Падов и Ипатьевна — переспавши, пошли во двор пить чай.

Дворик был неуютно-загаженный, обнаженный, у всех на виду, да и небо его прикрывало как-то широко и глубоко, со всех краев. Одинокая досчатая уборная стояла, словно вышка, в конце двора. Травушка была пыльная, жиденькая, точно земля облысела; вычищенный, серый скелет подошедшей кошки, как ненужная палка, валялся посередине; недалеко притулился покарженный на бок стол.

Ипатьевна, крихтя, первая присела; она уже с раннего утра напилась кошачьей крови и теперь довольствовалась черным хлебушком. Соннов ел самодовлеюще-утробно, не обращая ни на кого внимания; Толя курил, скаля зубы и радуясь солнышку.

— Много мне о вас наговорили, Федор Иванович. Особенно Аннушка, — промолвил он.

Федор промолчал.

— Значит, в Лебедином все хорошо, — наконец проговорил он сквозь зубы.

— В отличии, — ответил Падов и рассказал кое-что, тихо, уютливо, и в озарении.

Федор чуть оживился.

— Ну, а Клавуша прыгает не по-человечьи иль как? — пробормотал он.

— Не знаю. Может только в одиночестве, — улыбнулся Толя.

Федор довольно проурчал, любуясь словом «одиночество». Ипатьевна смотрела на обоих востро, сумашедше-сморщенно и как бы через платок. Забыв обо всем, она совсем распустилась, обнажив старческие телеса.

— Ну, а как эти... шуты, которые собачек и птичек резали, — спросил Федор, вспомнив Падова, Анну, залитую солнцем поляну и пролитие крови на ней.

— А, а, — рассмеялся Падов. — Шуты распались. У каждого из них своя судьба. Пырь совсем отошел: стал главарем обыкновенной шайки... детишек лет шестнадцати, остервеневших от пустоты... Они теперь по подворотням людей режут. Просто так... Волкуют... А Иоганн пролез в монастырь: очень ему жаль стало птичек и крыс. На этом и отключился. Грехи замаливает... и по ночам, в темноте молится, но не Богу, а крысам своим убиенным... Один Игорек остался... Ну этот ловкий, ангелочек... Скоро появится в Лебедином... Его кой-чему научили, он теперь не совсем шутливый...

Федор блаженно собачил пасть; хмурился, как кот, на Падовские слова, наконец, встал.

— Пойдем погуляем, Толя, — проговорил он, а на Ипатьевну шикнул, чтоб сидела на месте и не вставала.

«Ишь пристальная, — подумал Федор. — Сиди и соси кошек».

Вышли на улицу. Полил тихий, успокоенный дождик. Люди жались к мокрым заборам. Федор простуженно выпячивал нижнюю челюсть: ловил капли дождя.

Толя отметил, что Федор ничего не замечает вокруг. Но у колодца, споткнувшись, Федор вдруг застыл взглядом на кучке людей: не то баб, не то мужиков, но совсем обычных. Глаза его остекленели, точно он увидел потустороннее. Сплюнув, Федор тяжело переглянулся с Падовым.

Толя хихикнул, и скоро они скрылись во мгле завороченной, с тьмой вместо окон, пивной.

В углу, у заплыванного полу-трупными выделениями столика, посторонне и бесшумно присели. Из-за неудобства помещения и туч на воле была такая темень, что лица людей белели, как в глуши, своей непосредственностью и оскалом.

Федор тяжело вглядывался в Толю; но в уме выплывал Михей и то, что он его не убил; Падову стало чуть легче: от этого присутствия чужой тяжести не так мучило свое.

Федор все суживал свое сознание до неадекватного, тупосонного луча; потом глаз его упал на жирную спину пьяно-обабившегося человека. Эта спина маячила рядом. Федор сделал резкое движение рукой; она опустилась где-то около шеи пьяного и тот грузно, ничего не понимая, рухнул на землю, словно уснув.

Падова поразило движение Федора: оно точно имитировало удар ножом.

— Ну вот и еще один мог бы отправиться... — пробормотал Федор, обращаясь к Падову.

— Куда?! ...К Господу под крылышко?! — взвизгнул Падов.

Федор удовлетворенно качнул головой.

У Толи не мог выйти из сознания этот удар, почему-то до ужаса, сверхреально воспроизводивший удар ножом. Даже

настоящий удар ножом не был бы так реален в своей сути как этот. Падов связал его с видимым отношением Федора к другим существам.

— Федор Иванович, а вы могли бы убивать? — в лоб, схода спросил Падов.

Федор вдруг вздрогнул и захохотал.

Падов полубессознательно оценил это как внутреннее согласие.

Ему захотелось испытать Федора. И он лихорадочно, в ярких, неожиданных мазках, нарисовал Федору общепринятую картину первых ступеней загробной жизни; особенно сосредоточил внимание на неизбежном, почти автоматическом возмездии; возмездии за совершенное зло в этой жизни, тем более за убийство.

— Суета сует все это, — равнодушно среагировал Федор, прожевывая лапшу.

Падов тихонько завыл от восторга; но продолжал расспрашивать, хотя Федор, по земной мерке, был явно не адекватен.

— И возмездия не боитесь!. — воскликнул Падов, улыбаясь пивку.

— Какое там возмездие, — проурчал Федор. — А если и есть, так что ж из этого? ...жизнь и так возмездие.

Но Падов искал полного понимания; постепенно, задавая резкие, интуитивные, мистически взрывные вопросы, он обнаружил картину, от которой его мысли становились дыбом, разумеется от восторга. Не составляло труда переводить тяжело-дремучий язык и молчание Федора на обычный метафизический язык.

Падов открыл для себя, что для Федора, вероятно, убийство было символом душегубства, душеубийства; хотя Федор как-то по-особому верил в иной мир, но здесь видимо это было для него убийством души, попытка добиться распада загадки.

Возможно, думал Падов, поскольку это убийство происходило главным образом в духе (хотя и сопровождалось, может быть, «обычным убийством») Федор ничего не боялся и не задумывался об эмпирически-послесмертном возмездии; духовное же возмездие — это нечто такое, что включалось даже в теперешнее состояние Федора и которое он не принимал во внимание, настолько потусторонни и непонятны, но внутренне реальны, были его духовные цели, к которым он шел, не фиксируясь на мелочах.

Падов с радостью видел, что Федора не страшит ничто эмпирически-загробное, так как его потустороннее лежит по ту сторону нашего сознания, а не по ту сторону жизни. Кроме того, в какой-то степени он был потусторонен самому потустороннему.

Это выглядело и более истинным и более величественным; Падов чувствовал, что Федор «их», что мракопосещательство — высокого качества, как и говорила Анна; он трепетно ощущал, что Федор — сам такой ужас, что пред ним мелки все ужасы послесмертной повседневности, а тем более здешние плачи и возмездия.

«Чего Ужасу бояться мелких ужасов», — думал Падов.

Иногда он грозно чувствовал, что Федор противопоставил себя мировому порядку.

Наконец, в исступлении, уходящим внутрь, оба они — Падов и Федор — пошли к выходу, на улицу. На стенах пивнушки оставались пятна дум, желаний, страстей. Рвано-измученный инвалид полз за ними до самого выхода. А потом,

вдруг появившееся солнце ударило им в лицо, точно оно было не теплым, а зловещим предзнаменованием.

У Падова начал вертеться в голове вопрос: убивал ли Федор в «действительности», вернее в быту?!

Мистически, в потайной глубине, он был уверен, что «да». Но до человеческого, внешнего сознания он не допускал эту мысль. В конце концов он чувствовал, что эти «да» или «нет» не так важны, ибо в Федоре он видел прежде всего — метафизического убийцу, цель которого полностью вытеснить людей и все человечество из своего сознания, чтобы даже само представление о существовании других людей стало пустым... И так же обычный убийца вытесняет людей из внешнего мира, так Федор вытеснял людей из своей души. А сопровождалось ли это метафизическое вытеснение обычным, параллельным убийством или нет, думал Падов, — существа дела не меняло.

— Поедете ли вы в Лебединое? — неожиданно спросил Падов у Федора.

Федор промычал. А потом, в доме, у Ипатьевны, когда из-под кровати вылез мальчик, добывающий ей кошек, выяснилось, что Федор придет в Лебединое спустя. Он сказал это, сидя на табуретке, когда расширенными глазами смотрел в пол.

Но Падова потянуло в Москву, к вихрю, к друзьям, к знакомому мистицизму, а потом — непременно — в Лебединое. Ему захотелось совместить в своем уме и Федора и «старое». «Поеду-ка я к Ремину», — решил он.

Раскланявшись промолчавшей в пустоту Ипатьевне, Падов исчез.

(Продолжение следует)

Издательство «Третья волна» предлагает

Заказы и чеки направляйте по адресу:

Alexander Glezer
286 Barrow St.
Jersey City, N.J. 07302

русские художники на западе

Иллюстрированное издание. 280 стр.
Цена \$ 18.

моше ландбург



новелла

З

авещание

МУХА С ЕДВА ЗАМЕТНОЙ ГОЛОВКОЙ-ШАРИКОМ И ЧЕРНЫМИ КРИВЫМИ НИТОЧКАМИ НОЖЕК НЕ СТУПАЛА ПО СТЕКЛУ ОКНА, А НЕСПЕША, ДЕЛОВИТО, СЛОВНО САПЕР, ВЫШЕДШИЙ НА МИННОЕ ПОЛЕ, ТРОПУ СВОЮ ПРОЩУПЫВАЛА.

«Если доберется до верхнего угла, — загадал д-р Лин, — то... Доберется если... Если...»

Течение мысли доктора обрывалось, проваливалось, стиралось, словно запись неисправного проигрывателя, и он, посапывая носом и подергивая коленями, ободрял себя улыбкой и сдавленным, безмолвным заклинанием: «Ну, же... Ну, же...»

Важно опередить муху, загадать прежде, чем она доберется до верхнего угла, и доктор мучительно напрягал мозг, спеша вырваться из сковавшей его унизительной неопределенности: что загадать?

«Если доберется до верхнего угла, то...», — с отчаянностью растерявшегося ребенка доктор начинал заново, упрямо подталкивая разрывающуюся мысль гоняясь за ней, сгребая обрывки, потому что в эту минуту весь мир был Ничем, а Всем была острая, судорожная необходимость — загадать!

Доктор расслабил шею, и голова его, упав, замерла на груди; глаза раскрытые и удивленные, смотрели на дрожащие колени: «ну, же...» — шептали губы, покрываясь щекочущими капельками пота, и горячими, сердитыми пальцами доктор забарабанил по мокрым губам и, весь сжавшись, подумал, что загадать в одном единственном случае невозможно — когда нет будущего.

«Ну, же, — вскинув голову, беззвучно просил доктор. — Ну, же...»

Муха остановилась.

«Время еще есть, — мелькнуло в голове доктора, — я, вот, сейчас... Загадаю...»

Доктор с надеждой глядел на муху, которая стояла не двигаясь, поглаживала черными ничтоками стекло.

«К черту!» — несдержанный хрип вырвался из горла доктора, и муха, словно на миг задремав или о чем-то задумавшись, обмякла, осела брюшком на стекло, а потом,

вдруг подтянула к головке-шарику передние ниточки, скрестила их в воздухе, заиграла ими быстро-быстро.

«Так точат ножи», — тревожно вздохнул доктор.

Муха отлетела в глубь комнаты.

«Нет у меня будущего», — решил доктор, и, с укором оглядев безответные, нежные стены комнаты, прищуренные глаза его наполнились мутными влажными горбинками тоски, которых поспешили упрятать в себе, словно в захлопнувшихся створках ракушек, слабые, разом упавшие веки.

«Нет у меня будущего, больше нет...», — снова подумал доктор и, оставаясь в кресле, неловким, вялым движением руки нащупал на письменном столе пластмассовую гладь радиоприемника.

«Завтра ожидается сухая... В плавательных бассейнах... Депутат Кнессета Геула Коэн... Для беседы о насекомых из Негева мы пригласили...» — доктор повернул кружок до конца; приемник, сухо шелкнув, заглох.

«Напишу в клинику, что убираюсь, — подумал доктор. — Другой патолог пусть... Сожалею, господин директор... Видите ли, так уж...»

Потные, липкие подмышки отвлекали, стирая реальное и унося в мир того помещения, где овлажняются лоб и спина и где по бездыханным, холодным телам немые, послушные полосы вычерчивает ланцет.

«Мама!» — глухой, короткий выкрик рванул горло, раскрылись неудобные, словно не свои, глаза —

Живот недвижимый, голый, хладный

Проведя по лицу руками, доктор задержал дыхание, прислушался к чему-то, но вдруг задышал шумно, со срывами, так, как дышат во время погони, а потом, застревая, лопались в его горле неяные, бессильные слова, а ладони прижались к широко раскрытым глазам, словно пытаясь выдать их, вылить из них память —

Разрезанный живот
Ноги в голубой коже.

«Упрямая у них память», — подумал доктор о глазах и, не убирая с лица ладони, растопырил пальцы, посмотрел сквозь них на полку, где среди толстых, в крепких обложках книг незнакомо мерцало короткое тело колбы с раствором формалина.

Долгий, сдавленный выдох вздул шею доктора, а напрягшиеся, тугие пальцы, точно коснувшись оголенных точек электрического провода, вобрали в себя мерзкую колючую боль.

Доктор коротко вскрикнул, и ладони, скользя по искаженному от боли лицу, опали на стол, стали бессмысленными, отрешенными.

«Мама!» — прошептал доктор, почувствовав, что грудь его пуста и невесома.

«Мама!» — прошептал он снова и прислушался в надежде уловить эхо или бодрящий отзвук. Комната молчала, как человек.

Просочившись в окно и лизнув стену, бледно-лиловый треугольник лег на книги усталым, вечным светом, а потом, вдруг широко раздавшись и утерав свои прежние очертания, незаметно, тихо рассеялся по комнате чем-то неопределенным, серым, тревожным.

Доктор не шевелился; он сидел, будто пленник, подобранный с поля боя и теперь связанный черными тесными лентами ночи.

Всполошив тишину, телефон в спальне закричал нетерпеливо, надрывно.

«Наверно, Тина», — подумал Доктор и удивился тому, что подумал «наверно, Тина», а не «конечно, Тина», а потом он подумал, что значения это никакого не имеет, и что все в мире значения относительны, переменчивы и непостоянны. Ему вдруг захотелось коснуться колбы, ощутить ее в своих пальцах, но рука на столе оставалась лежать немощной и безвольной.

Телефон больше не кричал. За окном блеснули ночные звезды.

Снова подумав, что нет у него будущего, доктор усмехнулся кривым, некрасивым ртом, а потом решил, что надо бы, если не звонить к Тине, то хотя бы написать ей...

«О, боже!» — проговорил он в темноту, четко увидев —

твердо протянутую руку, которая на миг задерживается в серебряной вспышке операционной лампы; нетерпеливо раскрывается ладонь в перчатке из тонкой резины, а на ладони влажное, розовое ЭТО —

— «О, боже!» — когда три дня назад он наклонился над больничной подушкой, внимая холодному шептанию бескровных губ мамы, тогда он еще не был уверен, что исполнит такую непонятную, такую неожиданную просьбу, и вот сейчас Это в стеклянной колбе с формалином, и он видит Это, даже сквозь жаркую темноту видит.

Доктор встряхнул головой, почувствовав во рту, над языком, едкую, острую горечь, а потом он долго сидел недвижимый, словно в оцепенении, и неотвязно приставала мысль, что и во сне, возможно будет видеть Это...

«Сохрани Это, — просила мама, — общность нашу... Сохрани...»

Зевнув несколько раз кряду, но не долго и протяжно, как младенец, который устал и спать хочет, а тихо, сдержанно, как студент перед тем, как войти к экзаменатору, доктор

вспомнил, что по дороге из больницы домой остановил машину возле магазина «Отец и сыновья Соколик», попросил бренди, а потом, уже в машине, поворачивая ключ зажигания, решил вернуться и докупить водки.

«Да, — с облегчением подумал доктор, — пойду на кухню. А письма потом... И директору больницы, и Тине — потом...»

За окном, сметнув покой ночной улицы, хлестко, пронзительно свистнули, и вслед взорвался звонкий, молодой смех. Хрипло и лениво пролаяла собака. И разом все стихло.

«Шляются тут по ночам», — сердто прошептал доктор, и ему вдруг расхотелось идти на кухню — остался в кресле слушать, как молчит ночь и как, покалывая, ворочается в его груди сердце.

«Что теперь будет?» — подумал доктор, вдруг с тоской вспомнил о мухе, которая покинула его, скрылась, и, не найдя ответа, устало сбросил голову себе на грудь, горестно, исподлобья поглядел на раскиснутые на письменном столе черные, немые полосы рук —

— Что у вас в руках? — вздернув высоко на лоб полосы бровей, глаза старшей сестры, вспыхнув, округлились, наполнились густыми темными колечками ужаса. — Зачем вы такое?.. Господи, зачем?..

Доктор не ответил, лишь коротко посмотрел на убежавшие брови растерянной ассистентки, на ее отяжелевшие губы, которые не переставая повторяли одни и те же «зачем», и снова вернулся к ладони с Этим.

— В своем ли вы уме? — придя в себя, старшая сестра мягко приблизилась к доктору, осторожно заглянула в пустые глаза его, напомнила: «У бедной женщины метастазы были обнаружены в печени, а это...»

— Чрево моей мамы, — проговорил доктор не поднимая глаза и напряженно раздумывая над тем, куда девать руки. Потом постоял еще немного, рассеянно слушая чей-то плач рядом.

— Тягучая, липкая ночь дурманила тело, настойчиво и властно гнула к груди голову, и только открытые глаза мерцали в темноте по-прежнему сухо и трезво.

«Боже, до чего ж они черные», — ни то с досадой, ни то с укором подумал доктор о своих руках, а потом, вдруг шевельнувшаяся в голове мысль — что если руки останутся навсегда черными и немymi — на миг вспугнула его, заставила вздрогнувшее в кресле тело насторожиться, а пальцы на столе потянулись за пачкой «Тайма», достали сигарету.

«Оттого что ночь сейчас...» — отгонял страх свой доктор.

Вспыхнув в темноте, синий огонек зажигалки замешкался, снова что-то решая, но, так и не коснувшись сигареты, погас.

«Ночь сейчас, поэтому...» — зажигалка, коротко прошипев, снова вскинулась в пальцах, но теперь огонек не гас, а, дрожа, прочертив в темноте синюю дугу, внезапно остановился, зачем-то качнулся и замер, четко высветив тонкую бледную шею колбы с формалином. Доктор подумал о том, что —

Такая же бледность лежала на шее мамы, лишь на лбу, на ушах и на самом кончике подбородка разлились густые малиновые пятна.

«Гадко, — сказала мама, — в земле... Нет-нет, не смерти

боюсь — наоборот, измоталась вконец уже, но только там... Бездушные, слизкие там черви... Противна мысль, что... Меня ведь к утру не станет, и думаю я, что надо бы завещание... Молчи, сынок, молчи... Ты вот молчи и слушай... Конечно, тебе от меня ничего уже не... Вон ты какой доктор, хирург... Успела я вырастить... Теперь за собой оставить нечего... Никогда не было — ты вот у меня был, да еще о тебе заботы... Молчи, сынок, молчи... Завещание — она воля моя... Ты послушный будь — прими мою волю... Помни волю... Я запишу все... Утром приди... А сейчас устала я, посплю...»

— В тот миг, когда к окну потянулось расчищенное от ночных звезд небо, свечение зажигалки тотчас утерло силу, поглотилось вошедшим в комнату цветом утра, но доктор, не замечая всего этого, снова и снова протягивал зажигалку, нацеливался на колбу сухими, острыми глазами, словно боялся упустить появление какого-то тайного намека или, быть может, знака. —

Утром мама теряла сознание, но каждый раз, придя в себя, беспокойным движением тревожных глаз подзывала сына, просила положить голову к ней на подушку и торопливым шепотом договаривала прерванное: «Не получилось написать... Я вот скажу... Завещание мое... Приставь-ка ухо... Только обязательно... Сам лично... Вскроешь меня... Когда меня уже не... Обещаешь?.. И сохрани Это... Нет-нет, ухо не убирай... Заклинаю... Это не отдавай!.. Сделай, сынок, как прошу... Сохрани!.. Остальное — верни богу... Остальное — не наше... А когда...»

— Оставив руку с зажигалкой висеть в воздухе неуместно и ненужно, доктор прошептал что-то, отвернул голову, перевел в стертое, неясное пространство погасшие теперь глаза, и ухо, жаркое, воспаленное, упало к плечу, обмерло.

«А когда... — услышал доктор. — А когда... А когда... А когда... А когда...»

И вдруг заметил он коричневый стол, а на нем черный приемник и белый коробок «Тайма», а потом, когда взглянул на окно, увидел, что в мире утро.

Сбросив на стол зажигалку и порывисто отжавшись на усталое скрипнувших подлокотниках кресла, доктор всем телом подался вверх, к полке, остановил губы перед желто-коричневой жидкостью с Этим и, точно бедуин, припавший к морде занемогшего верблюда, зашептал тихо, но убежденно: «Не отдал я... Слышишь?.. Сохранил...»

Поддерживая на весу грузное тело, стараясь крепиться из последних сил, задрожавшие от натуги руки, наконец, сникли, согнулись в локтях, уронили доктора обратно в кресло, и недвижимый, бессильный, еще ощущая в себе следы, оставленные ушедшей ночью, смотрел он на тихий свет в окне и думал о том, что утро будет еще и еще, и непременно будет его жизнь, только уже иная, непохожая на ту, что прошла.

Доктор посмотрел на колбу, и взгляд его, долгий, недоуменный, задержался, словно замороженный — доктору показалось, что колба в свою очередь наблюдает за ним, следит пристально за его мыслями, только ничем не выдавая себя и оставаясь в молчаливой, загадочной строгости. «Как голова сфинкса, — подумал доктор, — как найденный в стене древнего храма свиток Торы.»

«Добрый день», — едва слышно проговорил доктор и, словно спохватившись, повторил «добрый день гораздо громче, а потом он сказал достаточно четко и громко «спокойной ночи», и в этот миг узнал он, что по утрам будет приходиться к колбе с формалином и говорить «добрый день», а по вечерам, перед тем, как уйти в спальню, скажет «спокойной ночи».

Поднявшись из кресла и качаясь от усталости, доктор ушел на кухню, суетливой рукой достал из стенного шкафчика пустую рюмку. Рюмка оказалась прохладной.

«Отчего прохладная?» — подумал доктор, но вопрос вдруг утерялся, и почему-то ресниц доктора коснулись гладкие тинины плечи, обдали теплом и тоже отошли прочь, а потом доктор стоял и смотрел на пустую рюмку, и стало ему тоскливо от мысли, что тихий, счастливый стон обмякшего, засыпающего тела больше никогда не услышит.

Никогда...

«Добрый день! Спокойной ночи!» — сказал доктор вслух, и, немного помолчав, повторил «добрый день» и «спокойной ночи» еще несколько раз, внимательно прислушиваясь к звучанию своего голоса. —

Глухо зазвучали шлепки свежей земли; жалобно звенели задевая за камни кладбищенские лопаты.

— Звук выпавшей из пальцев рюмки заставил доктора вздрогнуть и, недоуменно оглядывая разбросанные по полу осколки, он вдруг подумал, что никогда не будет у него жены, и что, когда подойдет время умереть, ему не понадобится составлять завещание, во всяком случае, смерть его никогда не коснется, ничто в этом мире не переменит.

Перешагнув через осколки осторожными ногами, доктор задержался ненадолго в дверях кухни, а потом, тихо вздохнув, закрыл глаза и такой, незрячий, прошел к письменному столу, нащупал в среднем ящике листы бумаги.

«Мама!» — в тишине раннего утра голос доктора звучал лишним, раздражающим звуком, но не найдя в себе сил помолчать, доктор сказал что-то еще и еще, а потом обмер, словно вспомнил о чем-то, открыл глаза, взглянул на дрожащие в руке листы.

«Тина, я остаюсь с мамой, — начал доктор. — Так уж... И ради бога, не требуй от меня разъяснений, потому что объяснить тебе не смогу, как и не могу объяснить себе. Я любил тебя и в эту минуту, вот сейчас, тоже люблю, но оставляю тебя, как оставляю себя. Господи, странно все, путанно... Я же говорю: не спрашивай...»

Почувствовав чье-то присутствие, доктор задержал движение ручки, поднял голову.

«Ты? — едва слышно проговорил он, увидев на окне маленькую головку-шарик и кривые черные ниточки ножек. — Ты вернулась?»

Муха не замерла, не обмякла, прижавшись к стеклу брюшком, как накануне, а с удивительной заносчивостью, даже вызовом, продвигалась к верхнему углу окна, и доктор, провожая ее взглядом безучастным и смиренным, старался изо всех сил не думать о Тине, а потом, когда муха добралась до верхнего угла, доктор из оставшихся сил старался не думать о том, что детей у него никогда не будет.



ЮРИЙ КОЛКЕР

из дневников пилигрима

(На борту парохода
«Адмирал Нахимов», 1971)

(1) Канев

По Днепру снуют лодчонки и баркасы,
Загорелые девчонки у турбазы
Загляделись, как художник — их не старше —
Пишет маслом две порожних старых баржи.
Там, за дамбою, наносы с рыбаками:
Говорят, богаты плесы судаками.

Лодки в крошечном заливе ждут, послушны,
Точно лошади на привязи в конюшне.
Вот пустеющая пристань. Над мостками
Что-то медлят два туриста с рюкзаками.

Детвора смежает очи, отгорланив.
Нам пора, спокойной ночи, город Канев!

28.07.1971

(2)

Не выискивай замыслов трудных,
Понапрасну усилий не трать.
Вот тетрадь, твой походный этюдник,
Для одних зарисовок тетрадь.

Удержи не любовь и свободу —
Но оставленный в море винтом
След, покинутый порт, позолоту
В остывающем небе пустом,

Где, сорвавшись с рекламной картинке,
Наравне с паровой трубой,
Чайки, словно в стакане чайники,
Оседая, плывут за тобой.

27.07.1971

(3)

Какой бедой занесены сюда —
Гордыней детской? страстью исполинской? —
Пересекали греки Понт Эвксинский...
Мне кажется, я вижу и суда

У той черты, где небо и вода
Сошлись вдали от тверди материнской.
Твой север пасмурный, твой берег финский —
Последний пласт бывшего их труда.

Смотри: причалил смехотворный флот,
И — на берег выскакивают разом,
Сплотив щиты, и тут уж бой идет.

И листригон, кося дикарским глазом,
Бежит от них, оставив свой оплот.
И утро пламенеет над Кавказом.

29.07.1971

из книги ex adverso

Твои портреты

*Вот фотографии. Осталось их немного:
Одни я выбросил, другие потерял.
Ты хороша на них: живым дыханьем Бога,
Нектаром юности проникнут матерьял.*

*Кто — Дорианов бес, Канова иль Понтормо —
Ланитам возвратил былую теплоту?
Ты появляешься, и оживает форма,
И милые черты стареют на ходу.*

20.11.80

Воздух августа

*И точно: легка, как перо,
Как пух, легковесна, —
Печаль моя смотрит хитро,
И в чем ее суть — неизвестно.*

*Печаль моя, если ищю,
Легка на помине, —
Три камня ложатся в пращу,
Три яблока зреют в пустыне.*

*Печаль моя! Стоит ли знать?
Не знаем — и ладно.
Есть труд: называть, вспоминать,
Но в чем цель — непонятно.*

*Пока подбирает слова
Таинственный опыт,
Кружится от слез голова,
И кубок с добавкой не допит...*

24.08.80

Фавн в роце Киприды

З.Э.

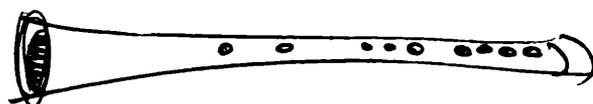
1

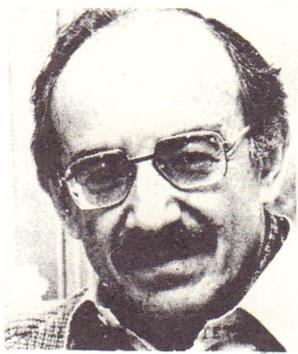
*Ты, Амагузия нежная,
дар сей прими благосклонно:
Новая жрица твоя,
кинув кружок Аонид,
Тебе творит возлиянье,
но дружбы с Игеей не водит,
Бахус также ей чужд —
тем драгоценнее дар.*

2

*Увы, Игея в наш век
в большей чести, чем Киприда!
Правило это старо:
тот в чести, кто суров.
Но и прекрасная прав
над нами своих не теряет. —
Чувствую: взыщется мне
этот кощунственный стих.*

29.08.80





михаил геллер и
владимир максимов:



беседы
о современных
русских писателях

ЧИНГИЗ
АЙТМАТОВ

Михаил Геллер. Чингиз Айтматов — писатель, которому все удается. В 1963 году за сборник повестей он был награжден Ленинской премией. Двадцать лет спустя, за роман «Буранный полустанок» он получил Государственную премию. Он член секретариата правления Союза советских писателей, депутат Верховных советов Киргизии и СССР, член партийных комитетов, общественных организаций, кавалер многих орденов и медалей. Это, повторяю человек, которому все удается, который, очевидно, счастлив. И этот человек написал роман «Буранный полустанок», о котором, я помню, это было сравнительно недавно, сначала стали приходить совершенно необыкновенно похвальные рецензии из Москвы, а потом стали приезжать знакомые и все в один голос говорили, что вот, родился гений, что это гениальный роман, что его нельзя не прочесть. Я его прочитал, и разные у меня возникли по этому поводу мысли.

Владимир Максимов. У меня, вы знаете, даже мыслей никаких не возникло, настолько это было разочаровывающее чтение. Это все смелость задним числом — разговоры о временах культуры личности и жалкие оговорки, что все это было в прошлом, а теперь все пошло замечательно, и партия явилась

инициатором разоблачения всех этих безобразий, которые были в прошлом, и т.д... И еще раздражает никак не смыкающиеся с тканью повести вставные главы о космических полетах с потугами на философствование... Из-за этого роман выглядит еще более жалким, неубедительным. Чингиза Айтматова я знаю очень много лет. И как это ни странно, я даже был первым из тех, кто способствовал его появлению в литературе. Помнится, в 1958-м году я переводил киргизских поэтов, плохоньких, средних поэтов, переводил для заработка, потому что надо было как-то существовать, жил во Фрунзе, и меня познакомили с Чингизом Айтматовым, который был тогда слушателем высших комсомольских курсов в Москве. Познакомили меня и с его первой повестью, она, кстати, никогда не включалась им в его последующие издания. Сюжет этой повести состоял в том, что солдат бежит с фронта, то есть, дезертирует, и жена его сначала скрывает, но в конечном счете, в порыве патриотизма выдает. По тем временам даже сама тема была, если хотите, каким-то шагом вперед. Она сама по себе была зпретной. И вот человек начинает говорить о дезертирстве. Впоследствии на эту же тему написал прекрасную, на мой взгляд, повесть, Валентин Распутин. Но видимо, у Чингиза Айтматова достаточно было критического отношения к своему прошлому творчеству, так что эту вещь он не включал, как я уже сказал, в свои последующие издания. А в то время, то есть в 1958 году, я был одним из тех, кто рекомендовал эту повесть в местный ежемесячный журнал «Литературный Киргизстан». Так что я стоял как бы у колыбели рождения этого писателя. Затем я следил за ним время от времени, и помнится, «Белый пароход» произвел на меня впечатление.

Но когда теперь я просмотрел все написанное им в целом и проанализировал его творчество от начала до конца, то пришел к убеждению, что в контексте этого творчества даже «Белый пароход» выглядит довольно сомнительно. Вы понимаете, в отличие, скажем, от Василия Белова, о котором мы недавно говорили, айтматовский творческий и гражданский оппортунизм выглядит настолько обнаженно, что даже поражает, как это не замечается нашим довольно квалифицированным интеллигентным читателем. Меня ставят в тупик восторги, которые приходят к нам отсюда, из Советского Союза, от людей, с которыми мы прожили свою литературную жизнь.

М.Г. Это очень важная проблема. И я думаю, что Айтматов — писатель, которого как раз очень интересно, может быть, если не читать (хотя мне тоже «Белый пароход» кажется интересной вещью, и, думается, это лучшее из того, что он написал), то, во всяком случае, исследовать. На нем, по-моему, хорошо видно, что из себя представляет литература, та, которую разрешают, та, которая и представляет литературу советскую. Прежде всего возникает такой вопрос: может ли писатель одновременно писать честные искренние книги одной рукой, а другой рукой, скажем, подписывать письмо группы писателей, осуждающих Солженицына и Сахарова. В 1983 году, после пленума ЦК, на котором Андропов изложил программу идеологической борьбы, Айтматов подписывает письмо в «Литературную газету»: «В эти дни мы неотступно думаем о том новом, что привнес в нашу жизнь, в наш образ мышления пленум ЦК КПСС».

Вот, может ли одновременно человек, который пишет все это, писать книги честные, искренние. Возьмем «Буранный полустанок», последний его

роман. Я помню, что и критика и особенно читатели выделяли там прежде всего легенду о манкуртах, о лжи и о человеке без памяти. Я не знаю, существует ли такая легенда в фольклоре среднеазиатских народов или придумал ее Айтматов, но это очень красивая легенда и очень волнующая. Человека оставляют в живых, но убивают, убивая в нем память. А писатели, которые влючают в свой роман такую легенду, в этом же романе обманывают читателя. Он пишет неправду о коллективизации, он пишет неправду о сталинском терроре, он объясняет все это случайностью, злой волей каких-то вдруг появившихся неизвестно откуда злых людей, и ограничивается тем, что все это в прошлом, все это забыто, а теперь все хорошо. Я думаю, что Айтматов представляет собой как бы модель советской литературы, официального советского писателя, который не всегда пишет просто лозунгами из «Правды», но который использует значительно более коварные методы одурманивания читателя.

Смотрите, у Айтматова — он использует мифы, его герой в «Бурном полустанке» верит в Бога, он говорит о народе, говорит о родине, говорит о любви к земле. Есть в книге Освальда Шпенглера «Закат Европы» пример, который хорошо подходит к нашему случаю. Шпенглер рассказывает, что геологи употребляют научный термин «псевдоморфоз» и объясняет его происхождение. Вот минерал и в нем кристаллы, скажем, драгоценных металлов, кристаллы золота, допустим. Идет процесс выветривания, вымывания, и кристаллы драгоценных металлов вымываются из минерала. Остается пустота. В процессе лавообразования в эту пустоту проникает лава, которая занимает место вымытого кристалла. Она похожа на исчезнувший кристалл, но это совсем другое вещество. Это и называется «псевдоморфозом». Мы получаем как бы нечто очень похожее на действительную вещь, а это вещь фальсифицированная. Мне кажется, что этот роман Айтматова и его другие книги — и есть яркий образец псевдоморфоза. А пустое место, в пустоты, откуда вымыты подлинны чувства, подлинная вера, введены псевдовера, псевдочувства, нас обманули. Произошла, как говорил Андрей Платонов, подмена.

В.М. Вы правы. Или, так, грубее

говоря, это эрзац-литература... Мне нравится понятие, которое ввел в обиход Александр твардовский: «Квалифицированный читатель». Поэтому я повторяю, мне непонятно, почему наш квалифицированный читатель не видит и не слышит этого. Может быть, энтропия, деградация, что ли, в современной советской литературе происходит одновременно с читательской деградацией.

Вспомните, например, в том же «Бурном полустанке» герой Егидей, уже задним числом, анализирует ситуацию, в которой погиб, Абуталией Катыйбаев, сосланный на этот полустанок учитель. После реабилитации выясняется, что его предал этаким почти безликий ревьюер, пописывающий в местных газетах. И вот герой, Егидей, размышляет: почему он это сделал, что его побудило на такое злодеяние? «Я много размышлял об этом, припоминая то, что знал из подобных историй, и то, что ты мне рассказывал, Егидей». Это пишет Егидею его русский друг Елизаров в своем письме. «Представив все это, — пишет далее Елизаров в своем письме, — я пытался понять мотивы его поступка. Нет, мне трудно ответить. Я не могу объяснить, чем была вызвана такая ненависть с его стороны к совершенно постороннему человеку Абуталию Кутыйбаеву. Возможно, это такая болезнь, эпидемия, поражающая людей в какой-то период истории. А возможно, подобное губительное свойство изначально таится в человеке. Зависть, исподволь опустошающая душу и приводящая к жестокости». Этот пассаж Чингиз Айтматов целиком может отнести к себе, после того, как он подписал самые омерзительные заявления против своих коллег по литературе.

И если вы проследите и в дальнейшем проанализируете внимательно все его творчество, вы увидите, что все это не случайно. Смотрите, сквозь почти все его повести проходит мысль о спасительной и целительной силе, которая присутствует постоянно рядом с несчастьями человека. Какая же это сила? Партия. Чудовищно читать, когда в повести, тоже расхваленной нашими далеко не худшими читателями, речь идет об играх вокруг партбилета. Трагедия целого народа превращается в какой-то фарс. Герой этой повести постоянно размышляет о своей принадлежности к партии, исключении и восстановлении в ней. А рядом с этим происходит действительная трагедия народа. Я вспо-

минаю сейчас свое пребывание в Киргизии. Я не говорю, что мог за несколько месяцев познакомиться с сущностью, бытом, традициями этого народа, но, ей Богу, даже наблюдая литературную тамошнюю среду, вы видите, что сделали с целым народом, как из него вырвали душу. Как-то мне пришлось переводить поэму в пять тысяч строк народного поэта Киргизии — и о чем? — О пользе суперфосфатных удобрений во время посевов хлопка! Вот как деградировала древняя поэзия... Но все это проходит мимо Айтматова. В его вещах происходит как бы возвращение к тому, что было до этого в советской литературе. Скажем, в конце двадцатых-тридцатых и даже сороковых годах проблемы ставились точно также, только более оголенно, более демагогично. У Айтматова же за легким словесным флером, за какими-то мелкими трагедиями и несчастьями, в общем выявляется та же самая схема, обычная схема советской литературы: «Да, есть недостатки, да, есть отдельные несчастья, но рядом стоит сила, которая это регулирует, которая в конечном счете всегда придет человеку на помощь».

М.Г. Из всего сказанного можно сделать вывод не только о писателе, но и о читателе. Мне кажется, опасность книг айтматовского типа необычайно велика. Вы задаете вопрос, почему советский читатель это читает? Я думаю, потому, что если его заставить все время питаться гигантскими поэмами о суперфосфате, то он начинает искать в литературе хоть что-нибудь. Это как больной цингой ищет витамин С в чем угодно. И как когда-то выразился поэт, если вместо хлеба ему дают камень, то он старается и в этом камне найти что-то полезное для себя. Если же этот камень сделал опытный мастер своего дела, то действительно, камень иногда может показаться питательным веществом.

В.М. И что еще характерно для Айтматова — у него явно больная совесть. Это уже в общем настраивает на какой-то, если хотите, оптимистический лад. Хочется верить, что эта совесть в Айтматове не умрет. Если вы внимательно присмотритесь к нему, к его вещам — он постоянно самооправдывается через своих героев. Возьмите хотя бы образ Таныбая из «Прощай, Гюльсары». Мы все смеется над историей о Павлике Морозове. У нас над

ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

этим смеются даже ортодоксы. Но за всей этой словесной вязью Айтматова практически выявляется та же самая история в судьбе Таныбая: он предаёт собственного брата. И он не сожалеет об этом, он постоянно, на протяжении всей повести ищет оправдательные мотивы для своего поступка. И в конечном счете ни в чем не раскаивается. А ведь он погубил человека, мало того, человека и всю его семью? Этого преступления одного, казалось бы, для больной совести хватило на всю остальную жизнь, чтобы раскаиваться. Таныбай не раскаивается. Даже и тогда, когда автор сталкивает его с таким, помните, героем молодым, который у него в отаре работает помощником, Биктаем. Биктай всем своим поведением, даже теми немногими словами, которыми он обменивается с героем, показывает ему свое презрение. Презрение к тому, что он делал всю свою жизнь. Так нет, Таныбая по

первому впечатлению не трогает, а в конечном счете — нет. Он считает, что парень ошибается, и он, Таныбай, должен прийти к нему на помощь. Такое вот самооправдание у Айтматова происходит постоянно. Я мог бы найти почти во всех его вещах оправдание собственного предательства, собственного гражданского и писательского оппортунизма. И в этом я вижу какую-то надежду. Человек, в котором не умерла совесть, еще может подняться на ноги.

М.Г. Возможно, человек, но писатель — что он сделает с книгами, которые уже написаны и которые изданы миллионами экземпляров?..

В.М. На это я мог бы вам возразить. Ведь есть такой пример в литературе, как Василий Гроссман, книги которого, вроде «Степана Кольчугина», тоже расходились сотнями тысяч экземпляров. Но в человеке вдруг произошел процесс катарсиса, внутреннего очищения, он

столкнулся с чем-то таким, что полностью изменило его взгляд на окружающий мир. И теперь у нас есть две прекрасные книги, которые уже не вычеркнуть из русской литературы.

М.Г. Это верно. Будем надеяться, что произойдет такой же катарсис и у Чингиза Айтматова.

В.М. Мы все-таки, Михаил Яковлевич, в своих беседах не должны, на мой взгляд, терять одного: надежды. Мы же вовсе не хотим зачеркнуть то положительное, что происходит в советской литературе. Мы просто предостерегаем нашего читателя от того, что вместо черного хлеба правды литературы ему порою подсовывают эрзац.

М.Г. Да, я даже сказал бы, что у меня нет никаких прав предостерегать. Мы, может быть, только показываем, что эти книги, книги Айтматова, можно читать и по-другому тоже.

«КОНТИНЕНТ»

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ,
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
И РЕЛИГИОЗНЫЙ ЖУРНАЛ.

Главный редактор ВЛАДИМИР МАКСИМОВ.

Зам. главного редактора НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ.

Ответственный секретарь ВИОЛЛЕТТА ИВЕРНИ.

Зав. редакцией АЛЕКСАНДР НИССЕН.

Редакционная коллегия: Василий Аксенов, Ценко Барев, Николас Бетелл, Энцо Беттица, Иосиф Бродский, Владимир Буковский, Армандо Вальядарес, Ежи Гедроиц, Александр Гинзбург, Пауль Гома, Густав Герлигг-Грудзинский, Корнелия Герстенмайер, Петр Григоренко, Милован Джилас, Ирина Иловайская-Альберти, Эжен Ионеско, Роберт Конквест, Наум Коржавин, Эдуард Кузнецов, Николаус Лобковиц, Эрнст Неизвестный, Амос Oz, Норман Подгорец, Андрей Сахаров, Виктор Спарре, Странник, Сидней Хук, Юзеф Чапский, Карл-Густав Штрём.

Стоимость годовой подписки: 40 западногерманских марок.

Цена номера в розничной продаже:

10 западногерманских марок.

Адрес Генерального представительства:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB.

Bauerstr. 28, 8000 Munchen 40, West Germany.

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank Munchen Nr. 6304630.

Postscheckkonto: Munchen 147391-804.

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)
начиная с №.....

Имя:

Адрес:

Оплату произвожу:

приложенным чеком почтовым переводом
через банк

Черты из жизни моей

Памятные записки
гвардии капитана А.И.Лихутина,
написанные им в городе Курмыше,
в 1807 году.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СУДЬБА ТАК ПОЛОЖИЛА, ЧТО СЧАСТИЕМ ВСЕЙ ЖИЗНИ МОЕЙ ОБЯЗАН Я ПОКОЙНОМУ БЛАГОДЕТЕЛЮ, СВЕТЛЕЙШЕМУ КНЯЗЮ ГРИГОРИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ. ЕДИНСТВЕННО ЕМУ Я ОДОЛЖЕН, КАК УДАЧЛИВЫМ ПРОХОЖДЕНИЕМ СЛУЖБЫ И УМНОЖЕНИЕМ ДОСТАТКА, ТАК И БЛАЖЕНСТВОМ СЧАСТЬЯ СУПРУЖЕКОГО. СИМ ВОСПОМИНИЕМ ВЕЛИКОДУШНОМУ ПОКРОВИТЕЛЮ ВОЗЛАГАЮ НА ГРОБНИЦУ ПРИЗНАТЕЛЬНЫЙ ВЕНОК.

Покойный родитель мой, Иван Прокопьевич, служил в конной гвардии еще при Государыне Елизавете. При нем Светлейший и службу начал, поступая в оный полк рейтаром. Батюшке тогда было лет поболее тридцати; Светлейший же был его гораздо младше. Однако, старательностью и усердием по службе превосходил он многих, за что на третий год произведен в капралы. Как батюшка, гнушаясь пустого чванства, подчиненным людям оказывал снисхождение, то скоро и капрал Потемкин стал к нему за всякое время вхож. Годами пятью позднее, соединился с ними старый Потемкина товарищ, Василий Петрович Петров. Сей последний приехал из Москвы искать счастья в Петербурге, но, путного не найдя и исхарчившись даром, проживал на иждивении приятеля. Имя Петрова вовеки не забудет Камена русская. Скоро три сии друга стали неразлучны. Батюшка не однажды потом вспоминал, как бывало почасту собирались они втроем, проваживая досужие часы в чтении и беседах. Щелкая за круглым столом орехи, в зимние долгие вечера за самоваром коротали они время. У батюшки и тогда не водилось ни вина, ни карт. Скоро обстоятельства их разъединили. Старший из троих друзей, утомясь службой, тотчас по кончине Государя Петра III взял отставку и поселился близ Симбирскова в родовой деревне; средний стяжал славу великого пиита при дворе Великой Екатерины; младшего же слепая Фортуна вознесла на несказанную степень почестей и славы. В сем случае, однакож, оная

БОРИС САДОВСКОЙ



возливая баловница не завязывала себе очей, ибо заслуги Светлейшего перед отечеством и Монархией, по справедливости, пребудут незабвенны.

В 1779 году минуло мне шестнадцать лет. Батюшка снарядил меня в Петербург на службу. Благословя меня материнским образом Скоропослушницы (матушка скончалась, когда мне шел второй год), взял он с меня клятвенное обещание честно служить и помнить присягу, паче же всего удаляться от развратного сообщества и картежной игры. Засим вручил он мне письмо к Светлейшему. По зимней дороге в две недели приехал я в столицу. Продолжительность сей поездки нисколько меня не утомила. Днем развлекали мой путь станции и постоялые дворы, где много свел я приятных знакомств. По ночам луна сияла над снеговой равниной. Под звук колокольчика, слушая ямщицкие песни да вой волков, летел я, дремля, в кибитке.

К Светлейшему на прием отправился я на третий день по приезде. Смятенный и оробелый, быв еще в ту пору совершенным деревенским недорослем, взошел я, озираясь, в пышную приемную. Княжеский секретарь, подошел, учтиво опросил, кто я, откуда и по какой надобности прибыл; ответы мои занесли на особый лист. Смирненно став в дверях, видел я множество вельмож и генералов, из коих иные спесиво и с небрежением на меня взирали. И немудрено: в деревенском коричневом кафтане и шерстяных чулках, с примазанной маслом косою, опустья руки, неприглядную, должно быть, являл я фигуру. Прием еще не начинался. Внезапно дверь из кабинета распахнулась, и вот Князь в собольем шлафроке вышел в залу. Все с поклонами засуетились. Князь, не глядя ни на кого, пошел прямо ко мне. Я обмер. Положа руку мне на плечо, вымолвил: «Ты Лихутин?» От внезапности потерял я голос и стоял, зардевшись, но Князь, взяв меня за руку: «Ступай за мною», и привел меня в кабинет. Там спрошен я был о здоровье батюшкином и который мне год, и в каком полку служить желаю. Тут

только вспомнил я, что у меня за пазухою батюшкино письмо. Князь, прочтя, с веселым лицом ко мне обратился: «Ну, поди, да запишись, у Василия Степановича, где стоишь, а после я за тобой пришло». Обезпамятев с радости, наклонился я поцеловать руку его Светлости и прытко, едва не бегом, устремился в залу, где давешние генералы не по давнешнему предо мною расступились. Теперь мой настал черед взглянуть на них с высокомерием. Воротясь к себе на постоянный двор, через два дня известился я о зачислении меня конной гвардии в сержанты.

Таково было начало житейскому поприщу моему. Батюшка отменно был доволен, когда я отписал ему о своей удаче. В конной гвардии прослужил я все восемь лет, не щадя сил, как то мне здоровье позволяло. Ровно через год по поступлении произведен я в корнеты.

Столичная моя жизнь протекала мирно. Свободные от службы часы проводил я на прогулках, либо в придворном театре. В полковых пирах не участвовал, памятуя слово, данное родителю. Однажды только не соблюл я правила свои, за что едва головою не поплатился. В сем случае вижу единственно мудрую руку Провидения, которая отвела меня от беды. Не примину описать, как все сие происходило.

Однажды на Масляной зашел я под вечер в известный трактир Орлова, что близ полковых казарм. Был голоден, спросил себе квасу и рубцов. О бок со мною рябой приказный из сенатской канцелярии пожирал поросенка с кашей. Найдя верный случай со мною заговорить, сказался он мне симбирским земляком, отозвался, что и родителя знает, и за здравие его просил меня бокалом вина. Я было отпирался, помня батюшкин завет, но скоро, рассуждая, что от одного бокала большого вреда не будет, послушался и хлебнул. За одним бокалом прошел и другой, и третий. Скоро в голове у меня порядком зашумело. Тогда сенатский приказный вынул колоду карт и в задней комнате стал меня учить банку, примолвя: «Кто сей игры не понимает, тот гвардии офицером быть не может». Затем, собрав карты, объявил, что я-де проиграл ему пять червонных. На сие я отвечивал, что таковых денег с собою не имею, да, когда б и имел, то ему бы не отдал. Не поверя словам, полез он ко мне силой в карман. Я его отпихнул. Слово за слово, начал он браниться: «акой-де ты дворянин, коли играть без денег садишься?». Я, осердясь, взялся за палаш. Приказный, приметя, что на нас из дверей смотрят, заголосил на помощь. Люди-было схватились за меня; я не уступал, и все сие происшествие сулило мне худой конец. В то самое время вижу, подходит ко мне человек почтенных лет, изрядно одетый и собою видный. Растолкав народ, крикнул он грозно на приказного и взял меня за руку из трактира. На улице он мне сказал: «Только жалея твое малолетство, не хотел я, чтобы ты из-за пустого дела звания своего лишился. Когда б командиры твои узнали о сем, то не избежать бы тебе лихой кары». Я стал его благодарить. Не отвечая, спросил он, какая фамилия моя. Когда я сказал, что Лихутин, он с живостью, остановясь, вскричал: «Не Ивана ли Прокопьевича сын?» Я его спросил, откуда родителя моего знает. Что же оказалось? Что сей любивый незнакомец есть ни кто иной, как Василий Петрович Петров. Тут со слезами поведал я ему о нарушенном пред родителем долге. В нечаянной сей встрече вижу доселе явственный перст Божий. С того вечера и до конца службы пребыл я верен слову моему, а на утро ходил в часовню служить молебн Ангелу Хранителю.

Краткое знакомство с почтенным Василием Петровичем оставило в моей жизни памятный след. Им был научен я, какие мне должно читать книги, а не в долгом времени с помощью его уразумел я французский и английский язык. Не однажды Василий Петрович читывал предо мной громозвучные свои оды. Я внимал ему с трепетом восторга. Гораздо после, прочтя Державина, я не нашел в последнем такого вкуса. Державин, Ломоносову подражая, в парении весьма единообразен. Василий же Петрович в песнопениях ширял орлом, побеждая Державина и прочих пиитов красотою и прихотливостью слога. Без пристрастия скажу, что Василия Петровича стихи всегда всех более меня воспламеняли. К великому моему огорчению, летом того же года растался я навсегда с сим почтенным любимцем Муз.

Семьсот семьдесят седьмой год отметился в жизни моей двумя неизгладимыми чертами. Седьмого января постигло меня великое горе: родитель, оставя меня круглым сиротою, скончался на седьмом десятке жития своего. К тому времени исполнилось мне двадцать четыре года. Я было собирался просить отставки для устройства дел домашних, но видно судьбе не того хотелось. Воротясь с сорокоуста по батюшке, нашел я у себя на столе приказ: сопровождать мне с прочими Императрицу при путешествии Ее Величества в южные губернии.

Теперь долгом считаю, отступя, изъяснить, какая другая черта в моей памяти тот год запечатлела. Как гвардии офицер, имел я въезд на все придворные балы. Сии достопамятные увеселения открывались всегда в присутствии самой Императрицы. В одеянии не пышном, но величавом, в сопровождении некоторых вельмож, изволила Она созерцать пляшущих с особого возвышения. Пред Ней проходили польский и минует. Когда же Государыня, довольно обозрев гостей, царственною своею поступью удалялась в апартаменты, тогда начинались и прочие все танцы. Не имея большой охоты к сему пустому занятию, любил я следить из-за колонны прохождение прекрасных дам. Между ними приметил я одну, которой взор оказался для меня пагубнее Купидоновой стрелы. То была фрейлина Императрицы, девица Чибисова. Невысокого роста, с гибким станом, соединяла она стройность легкой походки. Пышные волосы были напудрены и от этого белы, как снег, вздымались над челом подобно замерзшему водопаду. Всего же прелестнее были черные пристальные очи под тонкими бровями и розовые уста, осененные лукавой мушкой. Будучи от природы нрава скромного, я долго не отваживался пройти с нею польский и только, насилу преодолев себя, решился. Когда легкая ручка ее легла на мою перчатку, я как бы остался без чувств и голоса, ибо, обойдя полный круг, не знал о чем сказать. Так в молчании свершили мы танец, хотя красавица не однажды благосклонно взметывала на меня черные взоры.

В тот вечер решилась моя участь. Красавица Анета сердце мое навеки покорила. В карауле, на вахтпараде, дома, только одну ее видел я в мечтах моих. Жизнь без нее мне опостылела; в бездействии я скукой томился. Одна любезная надежда дожить до нового бала меня оживляла; но пришел бал, за ним другой, — и ни там, ни тут не было Анеты. Я не знал, что придумать. Только на третьем, маскарадном, увидел я мою богиню, столь же прелестную как всегда. Однако идучи с ней менуэт, я приметил, что веки ее припухли и розовая улыбка покинула скорбные уста. Осмелившись спросил: «Прилично ли нимфе с печальным ликом веселию

предаваться?». На что дама моя ответствовала голосом свирели: «Горести и нимф не оставляют». Чем разговор наш кончился.

Между тем приближался день отбытия Императрицы в Тавриду. Нетерпеливо помышлял я о долгом пути, наскуча бездельным ожиданием и разлучась с Анетой. Дни текли, схожие один с другим. Любовь моя отчасу разгоралась. Всякий вечер, напудрясь и подвив старательно белые букли, в новом мундире, шел я, гремя, мощеной улицей к заветному домику на Мойке. Там с тетушкой жила прекрасная Анета. В окошко тщился я хотя бы одним глазом увидеть мою очаровательницу, — напрасно: судьба и тут оказывала мне непреклонное жестокосердие.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Не по пустому сказано, что счастье там нас ждет, где его обрести не чаем. Со стесненным сердцем покинул я Петербург, устремляясь в южные края, но сколь печален был отъезд, столь радостно было путешествие. Оставляю описывать в точности весь путь; скажу лишь, что неоглядные дороги и поля весьма меня утомили.

Через несколько дней пути громады дальних лесов, синими зубцами темнившие небосклон, разошлись, подобно облакам. На место их ровная чистая степь нас окружила. По Днепру поплыли мы на пышных галерах, быв неумолчно приветствуемы с берегов пальбою и криками народа. От Киева Светлейший присоединился к поезду. Как на галерах пришлось нам влачиться немало дней, то к развлечению путников прилагались всяческие меры. На наибольшей из галер, «Десне», Светлейший всякий день давал роскошные обеды, на коих хозяйствовать изволила сама Императрица. К сим обедам приглашались по очереди все, находящиеся в свите. В один погожий апрельский день удостоился и я почетного зову.

Императрица, войдя в столовую, приветствовала собравшихся милостивым поклоном. Одеванием ее было перувиенное платье молдаванского фасону и гродстуровый чепец. Ясное чело, голубые очи и ласковая улыбка восторгали сердце. По левую руку от Государыни воссел Светлейший, по правую — Александр Андреевич Безбородко, что после был графом. Оба сии вельможи являли собой прямое различие. Князь станом и лицом подобился Аполлону. Темные кудри пышно вились над возвышенным его челом. Щуря приветливо молниеносный взор, в жаркой беседе взмахивал он алмазной табакеркой и оттого сыпал табак Государыне на платье и себе на комзол. Граф Безбородко, сложения грубого и на подъем тяжелый, слушал Князя, разинув рот, с медлительностью, свойственной малороссиянам. Однако, и он вовремя произнесенным словом неоднократно обращал на себя милостивое внимание Монархини.

Когда по приглашению Государыни пошли все за стол садиться, придворный лакей на конце указал мне место. В задумчивости за стул взявшись, взглянул я на соседку мою и едва громко не ахнул: то была Анета. До последнего часа не знал я о ее нахождении в свите. Как ни был я в чувствах взолнован, однако, приметил, что и ей увидеть меня не все неприятно было. Разговор не замешкался и до конца обеда мы с Анетой о многом договорились. Как вдруг в середине живой беседы Анета потупила взор и, дрогнув смутилась. Дабы я сего не заметил, тотчас с двойной веселостью про-

должала прерванную речь. Когда обнесли кофий, сударыня изволила встать и подняться на палубу, за нею все. С палубы открылось нам восхитительное зрелище. В сей день как бы сама природа убралась во сретение Семирамиды Северной. С берегов весенние прилетные птицы оглушали нас криками и свистом; несметные стаи уток и журавлей до того огромны были, что, мнилось, стояли недвижными тучами над Днепром. Вечера розовые краски, потемнев, предвещали ясную лазоревую ночь. Я было собирался пойти к Анете, наречь ее Дианою грядущей ночи, когда, оборотясь, увидел красавицу мою на корме с самим Светлейшим. Князь, вымолвив несколько слов, отошел с улыбкой. Анет в ответ склонилась с церемонным поклоном и бледность вновь покрыла томное чело. Князь, между тем, отошел к Государыне, задумался и, приставя к носу табакерку, созерцал восходившую багряную луну. Отчего, не знаю, сердце мое внезапной сжалось мукой. Впервые со дня смерти батюшки, сознал я вполне свое сиротство; мысль об одиночестве среди целого мира меня ужаснула. Долго стоял я недвижим взирая на чистые воды, серебрившиеся в тонком сумраке. Соловьи заливались в туманных берегах; ночная птица, налетев, чуть крылом не сбила с меня шляпу. Тому вечеру минула двадцать лет, но все описанное так мне памятно, как бы еще вчера оно совершилось.

С того часа Фортуна ко мне повернулась лицом. Всякий день виделся я с Анетой и счастливым случаем беседы наши не прерывались. Мы беседовали о чувствах, о театре, о вестях придворных, но усерднее всего сводил я речь на прелести жизни сельской. Я твердо решил, воротясь в Петербург, уволившись от службы и сразу же уехать к себе в деревню. Но еще того тверже с каждым часом укоренялась во мне мысль навеки соединиться с Анетой. Мысленно я видел себя в объятиях доброй подруги, окруженного ласками и заботами семейными. Поселясь в Лихутине, намеревался я на досуге предаться сельскому хозяйству, к чему имел всегда решительную склонность. С самой кончины родителя не знал я точно, велик ли мой доход и благоденствует ли вотчина, преданная на добрую волю старосты и бурмистра.

В мечтах и беседах неприметно летело время. Той порой медленные галеры сменились дорожными рыдванами, которые несли на нас по необозримым степям южным. Легче ветра, мчались мы на борзых конях, утопая в степной траве. То вылетали мы вдруг к распахнутой черной ниве, где пахарь мирно водил трудолюбивых волов; то неслись по заросшей дороге, проложенной, как сказывали ямщики, запорожской вольницей; инде мелькали белые казачьи хутора; здесь мельница приветливо взмахивала четырьмя крылами. Щедрая фортуна везде устраивала так, что и на дорожных привалах мы с Анетой не разлучались.

В Херсоне, идучи от обедни, объяснился я Анете в чувствах. Услышав признание мое, она залилась слезами. После просила дать ей на размышление малый срок. Упреждая предупредить решительный ответ, в тот же день вздумал я пойти к Светлейшему ради ускорения отставки. Нежданно сам от него получаю приказ явиться.

Светлейшего застал я в совершенном дезабилье, отдыхающим на софе и в добром расположении нрава. Последнее явствовало из оказанного мне ласкового приема. Первым делом Светлейший спросил о батюшкном здравьи. «Батюшка скончался», — отвечал я. Князь поник львиной главой. — «Давно ли?» — «О Крещении, ваша Светлость»

— «Царствие ему небесное! Он был человек добрый, прямо русский. Такого теперь не сыщешь. Ты только старайся быть его достоин, а я тебя, Саша, не забуду». Движимый чувством признательности, со слезами поцеловал я Князя в плечо. — «Я тебя хочу послать в Карасубазар передовым для устройства фейерверка, — сказал мне Светлейший, — что скажешь?» — «Ваша Светлость, соизвольте выслушать нижайшую просьбу!» — «Говори!». Тут изъяснил я Князю, что прошу отставки, дабы отцово имяне не впало в расстройство. Князь, выслушав, кивнул мне благосклонно. — «Просьба твоя имеет должный резон. Дворянину надлежит случить отечеству не токмо мечом, но и плугом. Уволиться тебе нет препятствий. А я попрошу Государыню наградить тебя за службу». Я с жаром благодарил его Светлость и просил замолвить слово Государыне о женитьбе моей на одной Ее фрейлине. Князь и тут изъясил согласие, примолвя, что сам на свадьбе у меня посаженным будет. — «А как зовут твою фрейлину?» — «Чибисова, ваша Светлость». — «Чибисова? Князь при сем слове, подняв голову, вдруг пристально в меня воззрелся. — «Так ты на Чибисовой жениться хочешь?» Слова сии князь вымолвил медленно, глаз с меня не спуская. «Точно так». Поднявшись внезапно с дивана во весь геркулесов рот, Светлейший, шлепая туфлями, пошел к окну. Оборотясь спиной, стекло царапая перстнем, спросил он помолчав: «А она знает?» — «Знает, ваша Светлость». Отчего, не знаю, сердце мое защемило. Князь все молчал. Потом заговорил глухо: «Хорош щенок... Из молодых вишь, да ранний! Пойдешь далеко. И ты — сын друга моего! Ах ты!»...» (прочих слов Князя на бумаге передать нельзя). Я свету не взвидел. Вся комната как бы в тумане закружилась; видел я одну исполинскую фигуру Светлейшего в турецком голубом халате. Вдруг, повернувшись, крикнул он мне грозно: «Пошел вон отсюда!»

Не помню, как дошел я до дома, как весь день тот дожил. Не столь страшил меня гнев Светлейшего, сколь мысль, что я в его глазах отныне презренным почитаюсь. Я никак втолковать себе не мог, чем я пред ним так прослужился и за что несу тяжкую обиду. Светлейшего чтил я благодарно, как отца родного; его приязнь к батюшке, его отеческая ко мне нежность — все сие было мне дороже почестей и наград. И всего так вдруг лишиться!

К вечеру приметнулась ко мне лихорадка с бредом. Призванный лекарь пустил кровь и на утро я пробудился телом здоровый, духом — на одре смертном. Вдруг слышу стук в сенях, и вот ординарец Светлейшего меня спрашивает. Я затрепетал. Вруча мне две бумаги, посланный удалился. Дрожащей рукой развернул я роковые листы. В одном надписан был приказ ехать мне немедля в Петербург совместно с невестой, — бывшей фрейлиной Ее Величества Чибисовой; в другом значилось всемилостивейшее увольнение меня от службы с чином гвардии капитана и с пожалованием мне на свадьбу трехсот душ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Нрав Анеты долго являл для меня непостижимую загадку. Во всю дорогу до самого Петербурга не осушала она очей. Не однажды я пускался допрашивать ее; умолял открыть тайну ее печали; не оттого ли она так грустна, что за меня выходит; увещал, что слово взять назад никогда не поздно. На таковые мои слова Анета отвечала улыбкой сквозь слезы,

потом с живостью уверяла, что я — ее самый верный друг, что добрей меня никого не сыщется в свете. Обнадеженный нежными речами, я отдышал душой, но не долго: скоро тихие рыдания снова слышались из угла кареты.

Из Петербурга, устроясь делами, не мешкая, выехали мы в Москву, навсегда оставя северную столицу. В Москве же совершилась наша свадьба в приходе Успения, на Арбате, мая пятнадцатого дня. После свадьбы поселились мы в доме приходского дьякона. Сей дом сгорел в 1799 году. Для меня он, хотя и деревянный, дороже был каменных хором, ибо в простых его стенах впервые в жизни познал я счастье, высочайшее на земле.

Дряхлый Сатурн, между тем, неустанно мчался на седых крыльях, точа вечную свою косу. Пора приходила уезжать в деревню. Я объявил Анете решение мое. Надобно было теперь избрать нам, где поселиться. Меня влекло в старое Лихутино. Как бы в тумане всплывали передо мной высокие волжские берега с расшивами и шхунами; быстрые паруса; веселые песни бурлаков; псовая и ястребиная охота, к которой я еще в ребячестве при покойном батюшке пристрастился; старый дикий сад и дом, строенный дедом еще при Петре Великом, где бутылки с наливками на окнах и перепелиные клетки под потолком с детских лет у меня в уме запечатлелись. Анета звала в новую Александровку, пожалованную Императрицей, прельщая меня красотами новых мест, коих живописный воздух был необходим для ее ослабелой груди. Чтобы покончить наши сомнения, решились мы бросить жребий. Судьба указала Александровку. Так еще два года суждено мне было не видеть родины моей.

К зиме отстроили мы дом, убрав его со всей роскошью, как нам то достатки позволяли. На другое лето никто бы не узнал сих еще недавно пустынных мест. Небольшой белый дом воздвигся над быстрой речкой. По комнатам расставились красного дерева кресла и столы, стены украсили живописные картины. Из светлых окон взорам открывался молодой сад. Липы и клены бежали легкими дорожками вокруг узкого пруда, за ними гордо вздымались серебряные тополи. Далее стояли яблони ровными рядами, суля обилие наливных плодов; над пестрым цветником чеканный эродий струил из медного носа ключевую воду. Анета была добрым гением нашего хозяйства: оно цвело под неусыпным ее надзором. Я не узнавал ее: бледность покинула милые ланиты; их озарил румянец, знойный, как украинское лето. Ласки ее ко мне непрерывно умножались. Два года неслышно пролетели сладким, блаженным сновидением.

Сколь памятны мне зимние вечера в нашей уютной зале! В канделябрах, дрожа, мерцали свечи, трепетно колебля по стенам голубые тени. Пред трескучим камином сиживал я в удобном кресле, созерцая змеистые переливы синего и золотого пламени. Анета за клавином пела. Образ ее и сейчас, как живой, предо мной: помню прекрасное, восторгом сиявшее лицо; кольцом дрожащий над бровью черный локон и звонкое пение, томившее негой невыразимой. Тетушка тою порой за угловым столиком раскладывала пасьянсы, а в столовой люди гремели тарелками, накрывая ужин.

Еще памятней мне летние дни в саду. Над прудом на зеленой скамье отдыхали мы с Анетой, упоенные зноем долгого полудня. В жаркой тишине звенели клики хохлатых удонов; иволга порой нежно проигрывала на своей флейте. Вечеру мы об руку обходили сад; освещенные золотом и пламенем заката, долго смотрели вслед ушедшему солнцу.

Печалью тихой и сладостной томилось сердце: мнилось, солнце за собой жизнь уводило.

Пятнадцатого мая нашему счастью минуло два года. (Тетушки уже не было с нами: на преставилась в самое Рождество). После молебна мы с гостями сели за стол. Ближний наш сосед, секунд-майор Пушкин, немолодой и прибряхий, поклонник Бахуса, провозглася хозяйкино здоровье, нечаянно сронил рукавом бокал и вино все до капли разлил. Таковая оплошность весьма расстроила Анету. Только она за ужином стала помалу развеселяться, — новое несчастье: собака цепная на дворе завыла. Со страхом ждал я третьей роковой приметы. Гости скоро после ужина начали разъезжаться. Удрученный тайным предчувствием, наскоро распорядясь по хозяйству я пошел в спальню. Анета была уже в постели. Закрыв глаза, она не спала, в молчании лег и я, не тревожа ее словами.

Светало, когда я пробудился. Мне не спалось; в халате я подошел к окну посмотреть, какая погода. День обещал быть ясным; в облаке утреннего тумана едва выказывались верхушки тополей. Внезапно почудилось мне, что у нас в доме поднялся необычный для такого раннего часа шум. Я прислушался: как бы все слуги бегают и суетятся в прихожей. Мне вспало на ум, что в доме у нас пожар; я оглянулся на Анету: она дышала бережно и ровно. Я уже хотел ее будить, как в дверях услышал шептанье старого дядьки моего Созонта. Наскоро он мне доложил, что некий проезжий генерал, богатый и с обозом, сломал по дороге колесо и хочет у нас остановиться, покудова кузнец ось сварит. Я распорядясь пригласить приезжего в гостиную, сам стал спешно одеваться. Второпях, схватя кафтан, размахнулся я полой и сшиб со стола зеркальце Анеты. Оно на мелкие куски разлетелось. От стука Анета пробудилась и, увидя на полу осколки, молча закрыла глаза руками. У меня сердце перевернулось. Так свершилась и третья примета.

Между тем, одевшись, я поспешил в гостиную. В ней несколько офицеров раскладывали наспех походную кровать. Лица иных показались мне знакомы. Не успел я вызнаться, кто сии неожиданные гости, как в прихожей задвигались тяжелые шаги, и проезжий генерал, войдя и остановился на пороге. Я тотчас признал Светлейшего, хотя он был заспан и небрит. Воспоминание последней нашей встречи так живо предстало моему воображению, что я готов был бежать из своего дома. Князь, не заметя меня, стоял, понурясь. Дорожный ватный кафтан мигом совлекли с него ординарцы. Оставшись в одной рубашке, Князь, сопя, опустился на кровать и закрыл глаза. В сей миг страшный раздирающий крик за дверьми заставил меня дрогнуть. Я бросился в спальню и в коридоре увидел простертую Анету. Она была в бесчувствии. С помощью слуг я бережно донес ее в спальню и положил на постель. С отчаяния, не зная что делать, припал я устами к ногам Анеты. Слезы из глаз у меня ручьями заструились. Анета была как мертвая. Вдруг чья-то сильная рука меня от постели отстранила. То был Светлейший со своим лекарем. По приказу сего последнего двое слуг за руки увлекли меня силой из спальни.

Теперь приблизился я к горестнейшему событию всей моей жизни, которое описать не имею сил. В полдень Анета вручила Господу праведную свою душу. Меня допустили к ней, когда уже она успокоилась навеки. Пав в отчаянии перед роковым ложем, я рыдал, не слушая никого, как бы забыв,

что в гостях у меня сам Светлейший. Люди сказывали после, что, глядя на меня, все кругом рыдали в голос.

Когда горесть моя несколько утишилась, ко мне подошел Светлейший и за руку отвел меня на свою кровать. Там проспал я крепко, как убитый. Пробудясь, опять увидел пред собой Князя. Сев подле, он положил на голову мне руку, не пустя встать: «Слушай, Саша, — молвил он тихо, — я виноват пред тобой. Ты — человек благородный. Покойница сама пред смертью мне все сказала. Теперь я у тебя в доме. Сказывай, чего ты хочешь?». — Я залился слезами и, целуя руки Светлейшему, высказал, что более мне ничего не надо; что мужнин есть долг любить жену свою, ласка же его Светлости для меня всего на свете дороже. Князь в лицо мне пристально поглядел, потом, усмехнувшись, молвил: «Тебя, братец в святцы записать надо».

Скоро на дворе княжеская коляска застучала. Обняв меня отечески, Светлейший со всей свитой уехал. Я побрел в залу. Тем часом солнце уже к закату склонялось. Анета, убранная, лежала на столе в белом венчальном платье. На грудь ей Светлейший возложил прядь своих волос. Отец Иван с дьячком взошли к вечерней панихиде. И так, погребальные песнопения огласили стены, слышавшие некогда сладкое пение Анеты.

Долго глядел я на мертвый лик верной моей подруги. Хладное чело дышало спокойствием, но около строгих уст уже синели смертные тени. На ум мне пришли последние слова Князя. В них чудилась мне некая тайна...*

1907 г.

* Последние листы рукописи утрачены. Б.С.

Издательство «Третья волна» предлагает

Иллюстрированное издание.
178 стр. Цена \$ 12.50



ТРИ ЖИЗНИ
оскар рабин

Заказы и чеки направляйте по адресу:
Alexander Glezer
286 Barrow Strett
Jersey City, N.J. 07302

Беседа с Бахытом Кенжеевым

«МЫ ДОЛЖНЫ ОЩУЩАТЬ СЕБЯ ПОСТОЯННО ЧАСТЬЮ РОССИИ...» —



Вы живете в Монреале более четырех лет. Насколько я понимаю, там вы оторваны от русской среды?

В общем, да. Существует один канадский русский писатель — Саша Соколов, но и он живет в Америке.

Как поэт вы ощущаете эту оторванность?

Не думаю, что я в каком-то особо трагическом положении, потому что, насколько я знаю, маленькой России за рубежом все равно не существует нигде. А общение с друзьями иногда, правда редко, происходит во время моих поездок в США. Либо они приезжают в Канаду. Все остальное время мы общаемся, так сказать, через периодику.

Но как поэт, оторвавшийся от русской реальности, от русской действительности, вы чувствуете, что произошли какие-то изменения в вашем творчестве?

Я говорил с одним читателем, и он обратил внимание, что в стихах вроде бы стало меньше конкретных деталей, живых прочувственных деталей, которые лежат под рукой. Я не очень согласился, хотя на самом деле, действительно, детали русского, советского быта постепенно заместились деталями быта американского. Дурного я в этом ничего не вижу, но в результате получаются стихи русские, но написанные за рубежом, на какие-то свои темы. Меня это волнует не очень, так как я не стремлюсь описывать действительность, а скорее описываю то, что можно назвать пейзажем духа. Для этого же действительность не слишком важна.

На нашем недавнем выступлении в Филадельфии один из слушателей высказал мнение о том, что в стихах всех выступавших там поэтов звучала

ностальгия, все стихи были связаны с прошлым.

У меня своеобразная точка зрения на ностальгию. Я считаю, что ностальгия, только не в русском смысле слова, а в американском — это вообще основной двигатель поэзии.

Ностальгия — тоска по несбыточному, не обязательно по Родине. Может быть, по прошлому, по собственной цельности, если угодно. И в этом смысле, я, признаться, его не понял, потому что кажется он призывал поэтов воспевать американскую свободу... Я таких требований не понимаю.

Он призывал описывать среду, в которой вы живете. Говорил, что в стихах, которые он слышал, нет отношения к нашей нынешней жизни.

Я думаю, что он просто не услышал или не захотел услышать, потому что все кто там читали, у всех была в стихах довольно четкая Америка. Это иногда в крошечных деталях проявляется, совсем незаметных — вроде бы стихи ни о чем, о душе, а на самом деле ты видишь там довольно четкий американский пейзаж. Но вот мы сейчас сидим в Музее современного русского искусства. Ожидая вас, я побродил по залам, посмотрел картины Оскара Рабина. Они такие же, как в России, в смысле, как говорила советская критика, мрачные. А живет он в одном из самых прекрасных городов мира, в Париже. Ну, и что ж в этом плохого, что ж в этом неправильного? Он пишет себя, свою собственную душу, помещая ее на фон того места, где он сейчас живет. И поэтому мне кажется, что нельзя требовать от сибирского поэта, который приехал в Ленинград, чтобы он воспевал Ленинград или писал о Ленинграде в том смысле, что, дескать,

в Ленинграде лучше, чем в Сибири. Я так понял этого слушателя: поскольку здесь лучше — хотя здесь, кстати, не лучше — то нужно... Как бы это сформулировать? Короче, он требовал оптимизма. Но оптимистических стихов, по моему глубокому убеждению, не бывает.

А в каком смысле вы имеете в виду, что здесь не лучше — не лучше эмигрантам вообще, не лучше писателям и поэтам?

В Америке рай — для американцев. Но только они этого сами никогда не поймут, ибо они не знают другой жизни. А мы этого не поймем, потому что все, что у них здесь есть, что они всосали с молоком матери, мы с молоком матери не всосали. Мы всосали другое. А я говорю не о русских эмигрантах, а об эмигрантах вообще. Что такое эмигрант? Эмигрант, по определению, это человек оторванный. Оторванный и катящийся куда-то. Есть точка зрения, согласно которой это даже может быть полезно для творчества. К примеру, на основе эмиграции возник гениальный писатель Набоков. Я не думаю, что если бы он остался в России, если бы не было всех этих событий, он был бы лучшим писателем, он может быть был бы хуже, потому что Набоков — это писатель, который возник на почве ностальгии. Причем, интересно, что у него ностальгия по несуществующей стране, и он сам отчетливо осознавал, что этой России не существует и никогда не существовало даже. Он знал, что это условный пейзаж, картинка, «Мир искусства»... И, кстати, в романе «Бледный огонь» он сам над собой немножко посмеялся, создав абсолютно фиктивную опереточную страну, которая, конеч-

но, параллель к его несуществующей России, где он был несуществующим королем.

Но что вообще полезно для творчества и что бесполезно? Говорят, что для творчества полезны страдания. Я в принципе с этим согласен, но все мы живые люди, страдать нам не очень хочется, нам хочется ощущать какую-то поддержку от того, что Василий Аксенов называет «химией», «химией почвы», в которой есть какие-то элементы, которых в Америке нет. Я, конечно, не говорю о свободе, там, и 75-ти сортах мяса в магазинах. С другой стороны, не раз приходила мне в голову мысль о том, что масса писателей из стран более бедных, правда менее репрессивных чем Союз, все-таки не уезжает из своих стран в Америку. Они чувствуют, что Америка очень хорошая, но лучше от нее держаться подальше. Я говорю о писателях, к примеру, латино-американских и европейских. Наоборот, американские писатели ездят в Европу, живут там подолгу, а иногда остаются чуть ли не до самой смерти.

А европейцы и писатели из развивающихся стран предпочитают, так сказать, сидеть у себя дома.

Какое у вас мнение о литературном процессе в эмигрантской литературе?

По-моему, есть одиночки, которые сливаются в отдельные группы иногда, в какие-то течения, в какие-то микротечения. В последний год мы стали как-то особенно ссориться друг с другом, что отвратительно. Но дело даже не в этом. В физике есть такое понятие — «критическая масса». Это та масса урана или плутония, которая должна быть, чтобы бомба взорвалась. Два килограмма, по-моему. Если на один грамм меньше, то бомба не взорвется, сколько не облучай. То же и здесь. Если представить себе, что нас всех свезли сюда, открыли такую маленькую Россию, вдруг выяснится, что нас очень мало, что нас не хватает на течение, на литературный процесс. Течение состоит не только из ведущих представителей, но и тех, кто идет за ними, из поддержки. Мы сейчас помним имена трех акмеистов — Ахматова, Мандельштам, Гумилев. А ведь за ними был второй эшелон: Нарбут, Зенкевич, кто-то еще. А за ними были еще и третий, и четвертый эшелоны, о которых мы просто забыли, но без которых течения, как такового, просто не могло быть. И этой необходимой

поддержки здесь просто не может быть. Откуда она возьмется? В эмиграции немало хороших писателей и поэтов, только они опять же одиночки. А литературный процесс — это взаимодействие писателей друг с другом и с читателем. Вот, например, простейшая вещь: здесь нет молодежи, девятнадцатилетних мальчиков и девочек, которые будут читать наши книги и дружить с нами и, может быть, из них, из тысячи будет десять верных читателей, а один пойдет по нашим стопам — этого нет. А ведь это абсолютно необходимая часть процесса. Мы здесь бездетные все в смысле духовном. И вообще я в жизни оптимист, но иногда с горечью вспоминаешь какая была литературная жизнь и какой был литературный процесс в первой эмиграции. И как он, в общем, к 1939-му году кончился. Была, конечно, война, но он кончился сам по себе, не зависимо от нее. И как раз из-за отсутствия молодежи. Об этом писал в свое время со страшной горечью Ходасевич. Но когда писал Ходасевич, он жаловался, что эмиграция затравливает свои молодые литературные таланты. А в этой эмиграции их вообще нет. Нашим молодым — под сорок. Или больше. Это люди, сформировавшиеся там, а здесь начавшие писать, потому что здесь они могут напечатать книги. В этом смысле картина довольно безотрадная.

Что вы можете сказать о литературном процессе в России?

Россия далеко. Если бы вы мне задали этот вопрос год назад, можно было бы ответить очень легко. Отделаться набором известных стандартных фраз. Сейчас ситуация в России меняется каждый день. Например, если бы год назад вам сказали, что Сахаров будет давать интервью из Останкино, вы бы плюнули этому человеку в глаза. Не правда ли? То же самое вы бы сделали, только помягче, если бы я вам сказал, что в Москве будут открыты несколько кооперативных клубов поэтов. В это тоже было невозможно поверить, но это уже есть. С другой стороны, мне пишут из Москвы, что это не такое уж медовое явление, потому что как только открылся клапан, в него устремились не те усталые, изможденные и серьезные художники, а прежде всего пена. То есть люди, которые не имеют никакого отношения к серьезной литературе, просто лите-

ратурные дельцы, ремесленники, увидевшие в этом возможность скорей пробиться в Союз писателей. И это очень печально, так как я думаю, что может быть со всеми прелестными вещами, которые там сейчас происходят, власти немножко уже опоздали. Поэзия — вещь капризная и дай Бог, чтобы я был не прав, но у меня впечатление, будто одно большое поэтическое поколение кончилось, я говорю о людях, которым сейчас где-то 35-40 лет и больше, а за этим поколением по сведениям, которые до меня доходят из двух столиц, вроде ничего и не идет. Нет уже такого мощного напора, который известен нам, скажем, по антологии Кузьминского.

Мы все время говорили о процессе неофициальном, о «второй культуре», как ее иногда называют. А вот литературный процесс в официальной литературе?

Мне поэзия ближе, так что начну с нее и скажу гадкую вещь. Литературного процесса в поэзии советской нет. Нет и не может быть. Потому что советская официальная поэзия почти как эмиграция, туда люди попали случайно. Там, конечно, есть несколько достойных людей, но они попали туда тоже случайно. Я могу назвать несколько имен: Кушнера, например, Чухонцева, Тарковского-старшего, Липкина, которого недавно восстановили в Союзе писателей. Но это не означает, что есть процесс. Процесс был бы, если в нем принимала бы участие добрая половина поэтов из антологии Кузьминского и многие другие. Вот Рейна недавно приняли в Союз писателей. Но опять же это ничего не значит. Рейну пятьдесят лет, он усталый человек, его друзья и так остаются друзьями, а они в официальном литературном процессе участвовать не могут. Поэтому получается парадоксальное тождество официального литературного процесса в России и здесь: он тоже, в общем, оторван от всего. Ведь все книги людей, которых я назвал, тонут в огромной массе поэтических сборников, которые издаются в Советском Союзе. Я представлял бы себе литературный процесс в России как издание какого-либо более-менее независимого журнала, который бы, кстати, ничем не грозил бы советской власти. Просто был бы журнал, в нем печатались бы, так сказать, достойные этого люди, на страницах его шло бы обсуждение литературной жизни. При

журнале был бы какой-нибудь литературный клуб, куда приходили бы люди. Но ведь этого нет. А поскольку хороших поэтов к читателю не допускают, а плохие ему не нужны, они только вкус портят, то получается очень извращенная картина. Не знаю, согласны ли вы со мной?

Задавая вам вопрос, я имел в виду не только поэтов, а всю литературную жизнь. Скажем, в прозе время от времени появляются интересные вещи, например, тех же писателей-деревенщиков...

Это правда.

И неофициальных писателей начали к чему-то допускать и в целом, по моему, какой-то процесс все-таки существует. Другое дело, насколько этот литературный процесс отражает все, что происходит в творческой России. И я не согласен с вами в том, что нет никакого литературного процесса в литературе эмигрантской.

А как вы думаете?

Я думаю, что какой-то есть. Ведь писатели пишут, они издаются, их вещи обсуждаются на страницах выходящих журналов, пишутся критические статьи...

Которые очень мало кто читает, вот в чем дело.

Но это другой вопрос. Просто литературный процесс здесь проходит в сложных условиях, когда основной читатель там.

Это получается литературный процесс, рассеченный на две половинки, как червяк. Как он срастется, я не представляю. Вот мы говорили об официальной советской литературе. В прозе, кстати, я считаю положение гораздо лучше в смысле литературного процесса и дохождения к читателю. Потому что если посчитать процент хороших вещей, которые появляются в прозе, о которых можно говорить, которые можно читать, то процент этот, конечно, окажется намного выше. Но, к примеру, советский писатель может по-своему желанию устроить читательскую конференцию. Если у него творческий кризис и ему хочется, он может получить этого добра сколько угодно. А потом уж удалиться к себе в Переделкино и там это дело переваривать. То же самое американские писатели в США. Ну, а в эмиграции что? Мы можем поговорить об этом с вами, еще с десятком друзей. В общем, это очень мало. Здесь нет той

самой среды, о которой я уже говорил. Среда, дающей возможность, грубо говоря, взаимодействовать с окружающим миром, с читателями, с коллегами, и взаимодействовать не по телефону, не через печать, а прямо. В идеальном варианте такой литературный процесс, каким я его вижу, существовал в пушкинские времена или во времена «Серебряного века». Относительно много читателей по тем временам, много поэтов, и все это жило в общении. Для меня может быть идеалом литературного процесса в поэзии — простите, что я все время на поэзию сбиваюсь — это Пушкин, Дельвиг и Баратынский, которые в 1819 году идут через роту Измайловского полка в Петербурге и поют пьяную песню в пять утра. Вот это литературный процесс.

Чисто поэтическое определение...

Ну, ясно...

Но все-таки, как известно, литературный процесс состоит не только из встреч с читателями. Литературный процесс — это и новые произведения, которые издаются, и реакция читателей на них, и реакция критики...

И из новых литературных произведений, которые на почве всего этого произрастают. Но эмигрантская критика довольно предсказуема. Кстати, эмигрантский читатель тоже довольно предсказуем. Эмигрантский читатель читает Аркадия Шевченко «Разрыв с Москвой» и новую книгу Войновича, которая в общем забавна, но не очень хороша. А Милославский до сих пор находится на жуткой обочине литературного процесса, хотя, по моему, он один из лучших современных русских писателей. Думаю, что в свободной России Милославский был бы не на обочине, а в центре. С последователями, учениками. И это бы давало ему силы заново писать, а так за семь лет он написал сборничек рассказов. Это, конечно, очень хорошие рассказы, но этого же мало. Очень мало. Мы живем в Америке, где все слишком помешаны на финансах. Если говорить метафорами, то писатель может, что, по моему, большинство наших писателей и делает, обратить свой капитал в ренту. Вот и получают у него маленькие ежемесячные выплаты. Конечно, такая жизнь, наверно, скучна. Но он может также просадить капитал сразу и потом повеситься. А проблема в том, что притока свежих капиталов нет. И это, по-

моему, типично для эмиграции. Иными словами, наша литературная жизнь, наш литературный процесс, если отвлечься от того читателя, который у нас там, имеют довольно жалкие пропорции. Очень мало откликов. Отклики опять-таки строятся, если на то пошло, на дружеских отношениях. Ну, когда мы в последний раз читали серьезную критическую рецензию на приличного писателя? По моему, таких вообще не было. А ведь они нужны. Если какой-нибудь из наших литературных китов, не буду называть имен, вдруг возьмет и напишет плохой роман, кто кроме Толстого в Париже, откликнется на него ругательной рецензией? Но Толстый не напишет серьезную рецензию. Он будет просто ругаться. Правильно? А серьезного и в серьезных журналах — никто не напишет. Это просто не принято. Странная такая эмигрантская этика. Но, конечно, я не перечеркиваю того, что у нас происходит. Когда я говорю, что процесса нет, я просто утрирую. Нет такого, которого мне бы хотелось. Если довести это до абсурда, если не выходили бы вообще русские журналы, то, конечно, это было бы ужасно — хоть вешайся. И замечательно, то, что выходит и «Континент», и «Стрелец» и «Грани»... Но все это — хлеб и вода, что ли. Хотелось бы и мяса. Того самого, которого здесь 75, или я не знаю сколько, сортов.

Как вы считаете, русская литература, создаваемая здесь и там, это единая литература?

Конечно. Это даже доказывается очень легко. Кого сейчас волнует, что Ходасевич и Цветаева — эмигрантские поэты? Просто — русские поэты, хотя лучшие свои произведения они создали за границей. Сейчас об этом и не думаешь. То же самое в конечном счете произойдет и с сегодняшней эмигрантской литературой. Да разве дело в том, где написана книга? Если на то пошло, где написаны «Мертвые души» как ни за границей, где написан Тургенев, где написан «Идиот»? Все это написано за границей, причем одно трагическое обстоятельство существует, касающееся написания «Идиота». Когда Достоевский уезжал писать «Идиота», он был абсолютно не уверен, что вернется в Россию, так как бежал от кредиторов. Он скрывался от кредиторов, жил в Швейцарии, там играл в рулетку и писал «Идиота». И в этом смысле

«Идиот» — эмигрантский роман. Но об этом забыли.

Я очень горжусь одной своей публикацией. Я редко горжусь публикациями, но одной горжусь — два года назад мои стихи были напечатаны в ленинградском самиздатском журнале «Обводный канал». И это дает какие-то основания для хорошего оптимизма.

Это нечто вроде выставок Шемякина на частных квартирах в Москве и Ленинграде шесть лет тому назад. А то, что поэты и прозаики оттуда печатаются в эмигрантских журналах и в антологиях эмигрантских, как-то переплетает их и нас в одно целое, в русскую литературу.

Мы с вами разговариваем на пороге нового года, время в наши дни бежит стремительно. Изменения происходят не только там, но и здесь, а в связи с изменениями, меняется климат в мире. Время как бы бросает литераторам вызов, и это может оказаться очень плодотворным. Существует периодизация, о которой потом пишут историки литературы, которые говорят: «шестидесятые годы», «семидесятые годы», «восьмидесятые годы»... В основном наша литература, у которой, в общем-то есть все основания гордиться, очень интересная литература. И та литература, представители которой попали сюда, в частности — я говорю сейчас о прозе — это литература шестидесятых и семидесятых годов: тот же Аксенов, тот же Максимов, тот же Солженицын. А сейчас стремительно вдруг начали наступать восьмидесятые годы, даже девяностые. Наступает совершенно другой период, когда старый багаж уже не годится. Я говорю совсем без оценок, я не говорю, что хорошо, что плохо, нет — просто наступает другое время, от писателя как в эмиграции, так и в метрополии зависит, что произойдет в литературе. Вопрос — смогут ли они поднять эту перчатку, брошенную временем? Потому что пока этого никто не сделал. Пока мы все оглядываемся только на прошлое в литературе, даже если это литература не о прошлом. Это литература, основанная на художественной и этической системе, сформировавшейся в шестидесятые годы. Даже о тех, кто начал писать позже, можно сказать то же самое. Например, рассказы Милославского написаны о шестидесятых годах. У Юрьенена то, что я читал, тоже написано о шестидесятых-ранних се-

мидесятых годах. У Козловского — тоже шестидесятые-семидесятые годы. Иными словами, была хрущевская эпоха, потом брежневская, которые шли впритык. И хотя вторая отрицала первую, тем не менее, в литературном плане они оперировали одинаковыми понятиями. А сейчас, как я уже сказал, время иное.

Что значит «иное время» и «поднять перчатку»?

В 60-е и 70-е годы задача писателя, как мыслителя, состояла в том, чтобы разработать систему ценностей, осознать, что такое хорошо и что такое плохо. Это — первое. Во-вторых, надо было записать живой быт людей, живую жизнь людей. Оставить это как памятник будущим поколениям. Выяснить для себя — что же вокруг такое творится: сколько тут лицемерия, сколько тут правды, сколько тут каких-то надежд. Это все и выяснялось. Эта работа сделана. Уже всем ясно, что такое хорошо и что такое плохо. Плохо когда нет свободы печати. Плохо, когда людей сажают в тюрьму. Плохо, когда людей бросают в психушки. Ныне все это всем совершенно ясно и литературные произведения на эту тему уже неинтересны. Был такой своеобразный хмель — наконец, мы стали умными, наконец, мы прозрели, наконец, мы увидели. А теперь уже все видят. Все знают. И хочется чего-то на совершенно ином уровне. Может быть, Саша Соколов, будучи обитателем башни из слоновой кости, находится на этом высоком уровне. Он очень четко чувствует некоторые вещи. Недавно он написал «Палисандрию», которая — пародия на все. Горькая очень пародия, в том числе и на так называемую «диссидентскую литературу». Я говорю не в уничижительном смысле «диссидентская литература». Скажем, «Остров Крым» — очень веселое, хорошее произведение. Но такого больше не напишешь. Мне, как читателю, хотелось бы, чтобы Аксенов, человек динамичный, из которого талант и энергия жизненная бьют ключом, написал бы роман об Америке. Об Америке не географически, а вообще, о жизни, роман на более высоком философском уровне. Почему я так ценю Сашу Соколова, того самого, которого называют «новый американец», говорят, что он-де и пошлый, и такой, и всякой... Ладно, по этому поводу вступать в спор не буду... Но он написал роман «Между собакой

и волком», роман об эмиграции, как это ни странно. Внутреннее содержание этого романа — эмиграция, существование двух разобщенных миров. Один из них близок к смерти, другой — к жизни. Это мир, населенный калеками. В некотором роде любой эмигрант — калека, поскольку он вместо натуральных ног пользуется автомобилем.

Не говорю, что всем надо писать так изощренно, как Саша. Нет. Соколов, как про него сказал Максимов, «сдобная булочка в литературе». Хлеб, конечно, тоже нужен. Я говорю путанно, но мне бы хотелось, чтобы сейчас появился Достоевский или Толстой. Человек, который не ругает и не хвалит, а просто пишет. У нас же сейчас с этим очень туго. Потому что у нас в большинстве романов четкая оценочная система: плохое, хорошее; плохая советская власть, очень хороший какой-нибудь мятущийся герой и так далее. Я не говорю, что советская власть хорошая, но литература-то здесь причем?

Иными словами, вы считаете, что литература должна совершить какой-то качественный скачок?

Да. Кстати, насчет литературы, политики и всего прочего. Я по радио однажды услышал фразу какой-то канадской писательницы, которая меня потрясла. Эта фраза может быть уроком для нас всех вообще, включая и меня, и вас. Она говорила о политике и литературе. «Вы знаете, — сказала она, — Шекспир жил отнюдь не в демократическом государстве, он жил при отвратительном строе, людей там вешали за бродяжничество, однако он был Шекспир». Вот об этом я непрерывно думаю. Что же мы вообще каиновой печатью помечены что-ли? Неужто мы не можем подняться до уровня не местной литературы, а мировой? Такой, чтобы англичане или французы читали наших прозаиков не из-за того, что они показывают какие-то стороны жизни нашей несчастной страны, а за то, что они — писатели.

Знаете, по этому поводу можно спорить: скачок нужен или движение, развитие. Но я хочу затронуть другой вопрос. Ведь у эмиграции есть задача и сохранения культуры, литературы...

Я думаю, что это не наша задача. Русскую культуру можно и нужно сохранять, пользуясь возможностями свободного общества, издавать какие-то «Поиски» и «Надежды». А литературе, если ее представителей не расстрели-

вают и не сажают, нужно расти и в наше время расти стремительно. По-моему, в России литература не хуже эмигрантской, а, может быть, и лучше. Вайль и Генис как-то писали, что мы — маленькая сытая, довольная, но все-таки провинция. А метрополия все же — там. И я с этим согласен. Но вот недавно я прочел в каком-то интервью, что мы здесь живем за тех, кто остался там. Они, мол, сидят перед телевизорами и жуют пропаганду. А нам доступна вся мировая культура, и поэтому мы за них живем, мы — это глаза и уши тех, кто остался там. Это злобная самоуверенная чушь. Потому что реальная культура, реальный дух от этого не зависит. Отец Флоренский, мученик погибший, ничуть не меньше сделал, чем Бердяев или Шестов. С этим, по-моему, нельзя не согласиться. И я не считаю, что из-за того, что нам здесь больше доступно, мы можем больше делать, чем они. Такой зависимости не существует. Но вернемся к вашему вопросу о сохранении культуры. Это действительно очень ценно, очень нужно и было бы трагично, если бы это не делалось. Но само собой разумеется, это не те лавры, на которых можно поживать. Мы не для того все-таки уезжали. Может быть, кто-то выезжал и для этого тоже. Но уезжали в основном рассчитывая, надеясь здесь все-таки писать, делать литературу, делать культуру. А с этим — проблема. С сохранением культуры проблемы нет. Это очень здорово, что в Америке и во Франции есть русские журналы, есть музеи русского искусства — это замечательно. Но...

А вам не кажется, что все это еще и как-то морально вдохновляет тех, кто там?

О, это огромно! Это мы здесь сидим и знаем, что все тиражи крошечные, читателей почти нет и т.д. Но, конечно, я помню и знаю, что любая публикация в любом занюханном журнальчике тиражом в двести экземпляров — грандиозный праздник для любого, кто там. И, конечно, по нынешней ситуации этот процесс — консервативный, охранительный — играет крайне важную роль. Однако, надо и создавать новое, как говорится, надо дерзать. Вы упомянули писателей-деревенщиков. Я с большим уважением отошусь к Распутину, но даже Распутин, самый из них лучший, кажется, и то, с точки зрения высокой литературы, в общем-то плетется в

хвосте у классиков, у прошлого века. Если мы отнимем у его произведений современную тему, как таковую, останется очень мало — реальная посылка, человеческая, философская, литературная — всего этого у него останется с гулькин нос. И в этом смысле у нас в литературе не очень хорошо — ни здесь, ни там. Вот напечатали в Союзе роман «Плаха» Айтматова, и все расшумелись о нем. А почему? Потому что он написан о вещах, о которых до прошлого года писать было запрещено. Ну и что ж в этом интересного? Достоевского — запрещай — не запрещай, а он останется Достоевским. Или, скажем, Булгаков — «Мастер и Маргарита». Роман написан о жестоких сталинских временах, и в какой-то мере, в нем передается опосредственно их атмосфера. Но не в этом же его главная ценность. А «Белая гвардия»? Это роман не о гражданской войне, это роман о людях, о вечных людях, которые на этот раз помещены вот в такое время. С литературой подобного плана дело обстоит плохо и в эмиграции, и в метрополии. Ее очень мало. А мне мечтается и не терпится, что вот — вот она появится. Хочется такого напора,

такого расцвета, как это было с поэзией «Серебряного века».

Ну, это было в России...

Это было в России, да... Вообще, я думаю, что мы все должны со временем понять, а многие уже поняли, что слово «эмиграция» не надо писать с большой буквы. Русская эмиграция — это очень интересное явление, но через сто лет мы забываем о том, какой трагедией была эмиграция для тех, кто ее пережил, и видим в ней только дежурное историческое явление. Люди уехали и попали в более благоприятные в чем-то, в чем-то менее благоприятные обстоятельства, но важно, что останется после них, их дело, а не их личные переживания, и не их мысли о самой эмиграции.

Мы должны ощущать себя постоянно частью России, оторванной, отрезанной, но все равно — частью. И от этой печки плясать.

Взял интервью
Александр Глезер
Декабрь, 1986

Читайте в следующем номере «Стрельца»

●
●
●
Проза: Юрий Анненков, Геннадий Вальдберг, Юрий Мамлеев

**Поэзия: Бахыт Кенжеев, Александр Фрадис
Беседу Михаила Геллера и Владимира Максимова о творчестве Юрия Домбровского
Интервью с Дмитрием Бобышевым
Статью Дмитрия Шляпентоха
Рецензии на новые книги**



Н. С. ГУМИЛЕВ
Рисунок Н. Войницкой, 1909 г.

Николай Гумилев в воспоминаниях современников

1

В необширной мемуарной литературе о Гумилеве четырем публикуемым ниже очеркам принадлежит исключительно видное место. Первый из них был напечатан более пятидесяти лет тому назад в прекрасном эмигрантском журнале «Числа» за подписью Г.А. Этими инициалами подписался Георгий Владимирович Адамович, поэт, автор трех отличных стихотворных сборников и ведущий критик первой эмиграции. Визит к Анненскому, в доме которого Адамович встретился с Гумилевым, в этом коротком эссе не датирован. Впрочем, датировка не представляет трудности. Этот вечер у Анненского в Царском Селе имел место в октябре или в ноябре 1909 г. Адамович писал о Гумилеве неоднократно. Об отношениях Гумилева и Анненского говорится также в одном из писем Адамовича, написанных им совсем незадолго до его смерти. «В августе 1921 г., — писал Адамович, — я в последний раз видел Гумилева... и долго с ним разговаривал. В то время я очень увле-

кался Анненским... Гумилев заговорил об Анненском и сказал, что изменил свое мнение о нем. Это поэт будто бы «раздутый» и незначительный, а главное — «неврастеник». Единственный подлинно великий поэт среди символистов — Комаровский. Теперь он, наконец, это понял и хочет написать о Комаровском большую статью... Хорошо помню, с каким преклонением он о нем говорил, ставил выше всех его современников, подчеркивая мужественный, достойный характер его поэзии. Гумилеву случалось изменять свои суждения. Вполне возможно, что, проживи он дольше, к Анненскому он вернулся бы. Но в последние дни жизни он его отверг и противопоставил ему именно Комаровского.» (Цитируется по книге В.А. Комаровский. «Стихотворения и проза» под ред. Ю. Иваска.)

Воспоминания Адамовича об охлаждении Гумилева к Анненскому и, во всяком случае, об эстетическом неприятии многого в поэзии Анненского подтверждаются и стихотворением Георгия Иванова, опубликованном им в «Новом журнале» в 1954 г.:

Я люблю безнадежный покой,
В октябре хризантемы в цвету,
Огоньки за туманной рекой,
Догоревшей зари нищету...
Тишину безымянных могил,

Все банальности «Песен без слов»,
То, что Анненский жадно любил,
То, чего не терпел Гумилев.

В тринадцатой главе своих воспоминаний «Петербургские зимы» (второе издание — Нью-Йорк, 1952) Г. Иванов рассказал о ночной поездке нескольких поэтов в Царское Село — «смотреть на скамейку, где любил сидеть Иннокентий Анненский». Инициатором этой поездки был Гумилев. «После какого-то литературного обеда, где было порядочно выпито, поехали куда-то еще — «пить кофе». Потом еще куда-то. В первом часу ночи оказались на Царкосельском вокзале. От «кофе», выпитого и здесь и там, головы кружились... Гумилев с Ахматовой (им что — царкоселы) впереди указывают дорогу. Мандельштам на моих с Городецким коленях замерзает, стал тяжелый, как мешок, и молчит. За нами на третьем извозчике еще два «акмеиста», стараются не отстать... У каких-то чугунных ворот останавливаемся. Бредем куда-то по колено в снегу... Гумилев оборачивается. Пришли! Это и есть любимое место Анненского. Вот и скамья. Снег, деревья, скамья. И на скамье горбатой тенью сидит человек. И негромким, монотонным голосом читает стихи. Человек ночью, в глухом углу Царкосельского

* Воспоминания о Гумилеве и комментарии к ним Вадима Крейда публикуются по книге «Н.С. Гумилев в воспоминаниях». Эта книга выйдет в свет в издательстве «Третья волна». — РЕД.

парка, на засыпанной снегом скамье глядит на звезды и читает стихи... На минуту становится жутко... Но нет, это не призрак Анненского. Сидящий оборачивается на наши шаги. Гумилев подходит к нему, всматривается. Василий Иванович, — вы? Я не узнал было. Господа, позвольте вас познакомиться. Это — цех поэтов: Городецкий, Мандельштам, Георгий Иванов. — Человек грузно поднимается и пожимает нам руки. И рекомендуется: Комаровский.»

Впрочем, основатель «Аполлона», поэт и видный художественный критик Сергей Маковский утверждал, что страницы о Комаровском у Г. Иванова не более как выдумка. Однако известный в начале века журналист Петр Пильский в рецензии на первое издание «Петербургских зим» (газета «Сегодня», Рига, 9 августа 1928) подтверждает достоверность этих воспоминаний о ночной поездке Гумилева с группой поэтов в Царское Село и о встрече их с Комаровским: «Конечно, я хорошо знал и Сергея Городецкого и Гумилева. Теперь Г. Иванов рассказывает, как они неожиданно ночью отправились в Царское Село взглянуть «на скамейку, где любил сидеть поэт Иннокентий Анненский». На ней уже произошло несколько случаев самоубийства. На этой засыпанной снегом скамье и в ту ночь сидел человек — сидел и бормотал стихи. Это был Комаровский...»

В. Комаровский к одному из своих сонетов в сборнике «Первая пристань» предпослал эпиграф из стихотворения Гумилева «Фра Беато Анжелико». Приводим стихотворение Комаровского, ибо оно, несомненно, писалось с мыслью о Гумилеве, которого Комаровский хорошо знал:

«В стране, где гиппогриф
веселый льва
Крылатого зовет играть в
лазури...»
Н. Гумилев

Гляжу в окно вагона-ресторана:
Сквозь перья шляп и золото погон
Горит закат. Спускается фургон,
Классической толпой бегут бараны.

По виноградникам летит вагон,
Вокруг кудрявая цветет Тоскана,
Но кофеем плеснуло из стакана,
С окурками смешался эстрагон...

Доносятся слова: Барджелло,
Джотто,
Названия улиц, книжные остроты.
О форуме беседует педант.

Вот Фьезоле. Cuique — свой талант:
И я уже заметил профиль тонкий
Цветочки предлагающей девчонки.

Сонет Комаровского написан в 1913 г., т.е. в тот же период, когда Гумилев публиковал свои итальянские стихи в «ежемесячнике стихов и критики» «Гиперборее».

Возвращаясь к отношениям Гумилева и Анненского, следует отметить, что в конце своей жизни и Анненский не вполне принимал поэзию Гумилева, о чем свидетельствует его пронизанный тонкой иронией, упрямой за похвалами, отзыв в «Аполлоне»: «Николай Гумилев, кажется, чувствует краски более, чем очертания, и сильнее любит изящное, чем музыкально-прекрасное». Разумеется, в иерархии ценностей Анненского «изящное» есть нечто мишурное и пустое, тогда как «музыкально-прекрасное» связано с самой сущностью жизни. Отношения этих двух поэтов сложны, и воспоминания Адамовича ценны, в частности, в том плане, что они — при внимательном чтении — давно могли бы покончить с легендой о безоговорочном принятии Гумилевым поэзии И. Анненского.

2

Следующим в нашей подборке идут воспоминания Леонида Страховского (1898-1963). Страховский — поэт, автор трех поэтических сборников, литературовед, опубликовавший по-английски книгу об акмеистах. Его очерк о Гумилеве был напечатан в журнале «Возрождение», №16, 1951. Только первые страницы этого очерка носят мемуарный характер, последующие страницы, опущенные в настоящей публикации, представляют собой обыкновенную литературоведческую статью, мало что добавляющую к облику Гумилева или к пониманию его поэзии. Видимо, и сам Страховский особенно ценил эти первые в своем очерке — чисто мемуарные страницы, так как через десять лет в несколько переработанном виде он опять напечатал их. На этот раз эти его воспоминания были опубликованы в канадском журнале «Современник». Версия в «Современнике» отличается от более ранней, которую мы предлага-

ем читателю, лишь в одном существенном отношении. В данном очерке Страховский, рассказывая о своей встрече с Гумилевым, неправильно датирует ее апрелем 1918 г. Есть основания думать, что Гумилев после целого года, проведенного за границей, вернулся в Петроград не в апреле, а в мае 1918 г. Нам кажется, что чтение стихов Блоком и Гумилевым, о котором рассказывает Страховский, имело место 13 мая 1918 г. Это был вечер поэзии, организованный участниками литературного кружка «Арзамас». Узнав, что на этом вечере (на самом деле чтение началось не вечером, а в два часа дня) жена Блока Любовь Дмитриевна Блок (она же Басаргина) будет читать поэму «Двенадцать», некоторые участники кружка читать свои стихи категорически отказались. Отказались, в частности, Сологуб, Ахматова и Пяст, считавшие поэму «Двенадцать» произведением кощунственным и порочащим дорогое имя Блока. Чтение поэмы все же состоялось. Читала Любовь Дмитриевна, по свидетельству слышавших ее, прескверно — манерно, театрально, с искусственной экстравагантностью. Позднее на том же вечере Блок прочел свои «Скифы» и несколько стихотворений. Леонид Страховский, через десять лет опубликовавший эти воспоминания еще раз (в «Современнике»), исправил дату, т.е. переправил апрель на май, не внося других существенных изменений в текст своих воспоминаний.

3

Третьим в нашей подборке помещены воспоминания о Гумилеве Эриха Федоровича Голлербаха (1895-1942) — искусствоведа, литературоведа, критика, поэта. Голлербах — автор или редактор-составитель более чем сорока книг, а также автор многочисленных статей и рецензий. Вероятно, наиболее известная его книга — «В. В. Розанов. Личность и творчество. Опыт критико-библиографического исследования» (1918). В 1919 г. вышел сборник стихотворений Голлербаха «Чары и таинства», в 1926 — сборник «Портреты». Среди его литературоведческих работ — книга «Образ Ахматовой». Голлербах был также составителем антологий: «Царское Село в поэзии» и «Город муз». Не все работы Голлербаха опубликованы. Мне приходилось видеть его неопубликованные манускрипты, впрочем, хранящиеся в хоро-

ших руках. Голлербах писал в своих статьях о Гумилеве многократно, чаще всего на уровне упоминания. Например, в антологии «Царское Село в поэзии», вышедшей через несколько месяцев после гибели Гумилева, о поэте сказано лишь несколько слов, причем непонятно, по цензурным ли соображениям или же потому, что Голлербах был поклонником Блока. Последнее обстоятельство подспудно отразилось и в самих голлербаховских воспоминаниях о Гумилеве. В те годы среди любителей поэзии было почти обязательным стандартом отдавать решительное предпочтение либо Блоку, либо Гумилеву. Голлербах был «блокистом», и в его отношении к Гумилеву чувствуется некоторая снисходительность. В одной из своих статей хорошо знавший Гумилева Николай Оцуп писал без обиняков: Голлербах не любил Гумилева. Однако виделись они часто, и Голлербах мог бы рассказать о Гумилеве значительно больше, чем он сделал, о чем, в частности, говорит и название этих мемуаров: «Из воспоминаний о Н. Гумилеве».

В этих воспоминаниях акцентируется увлечение молодого Гумилева поэзией Бальмонта. Это обстоятельство, пожалуй, не должно остаться без комментария. По окончании гимназии Гумилев попал в Париж как раз в то время, когда там жил Бальмонт. Сего стихами двадцатилетний Гумилев был хорошо знаком, читал также Эдгара По в бальмонтских переводах. Переводчик Рильке на русский язык, малоизвестный поэт Александр Биск, приехавший в Париж в том же 1906 г. (всего на несколько недель раньше Гумилева), писал: «Весной 1906 г. Бальмонт жил в тихой улице за Люксембургским садом. Молодой поэт, только что приехавший из России, автор настоящих записок, шел на поклон к королю поэтов. Нынешнее поколение и представить себе не может, чем был Бальмонт для тогдашней молодежи. Блок был новичком... Брюсов еще не был признанным мастером; все остальные поэты — Андрей Белый, Сологуб, Мережковский, Гиппиус, Вяч. Иванов — считались второстепенными. Безраздельно царил Бальмонт. Правда, «Будем как солнце» было уже позади, начинался медленный спуск с вершины, но обаяние Бальмонта было еще в полной силе... Телефонные звонки были тогда редкостью, всегда можно было

ожидать неожиданных посетителей. Бальмонт был первый, кого я посетил в Париже, поэтому я спросил его, где собираются русские поэты и писатели... Он послал меня к Елизавете Сергеевне Кругликовой. Это была известная художница, у которой был прием по четвергам, когда собиралось разношерстное общество — русские и французы, знаменитости и малые сии. Когда появлялся новый гость, Кругликова, назвавши его, представляла присутствующих: Бальмонт, Минский, Волошин, Плехановы...»

Гумилев, приехав в Париж, в том же году повторил тот же путь, что и Биск. Но вместо неожиданного визита к Бальмонту Гумилев написал ему письмо. Ответа не последовало. Затем он попал в салон Кругликовой. О желании встретиться с Бальмонтом узнаем из письма Гумилева Брюсову из Парижа от 30 октября 1906 г.: «Приехав в Париж, я послал Бальмонту письмо как его верный читатель, а отчасти в прошедшем и ученик, прося позволения увидеться с ним, но ответа не получил». И через несколько строк: «Знаменитый поэт, который даже не считает нужным ответить начинающему поэту, сильно упал в моем мнении как человек» (Н. Гумилев. «Неизданное и несобранное», под ред. М. Баскера и Ш. Греема, стр. 98). Нам не известны достоверные сведения, что встреча с Бальмонтом все же состоялась. В письме к Брюсову от 6 апреля 1908 г. Гумилев пишет, что познакомился с некой барышней, которая бывает у Бальмонта, из чего следовало, что сам он к Бальмонту не вхож. Тем не менее странно, как Гумилев не встретился с Бальмонтом у Кругликовой, где оба поэта часто бывали.

4

Последними в нашей подборке приведены воспоминания Александра Валентиновича Амфитеатрова (1862-1938), писателя и журналиста (фельетониста), автора многочисленных книг. Помещаемый здесь очерк вошел в качестве маленькой отдельной главы в теперь уже очень редкую книгу «Горестные заметы» (Берлин, изд-во «Грани», 1922, стр. 37-43). Амфитеатров жил в Париже и издавал там радикальный журнал «Красное знамя» как раз в то время, когда Гумилев по окончании гимназии поселился в Париже. Вряд ли что-нибудь могло объединить в это

время двух таких несхожих писателей. Гумилев был вдвое младше и правых убеждений, в то время как Амфитеатров издавал революционный журнал, в котором Бальмонт печатал свои «Песни мстителя». Между прочим, Александр Биск, чьи воспоминания цитировались выше, напечатал в «Красном знамени» свои «освободительные» «Песни юридического», из-за которых он до 1910 г. не мог вернуться в Россию. Сверх всего этого эстетические взгляды Гумилева и Амфитеатрова представляются диаметрально противоположными. Амфитеатров в это время был членом правления кассы взаимопомощи русских литераторов за границей. Возможно, на этом поприще ему приходилось встречать в Париже стесненного в финансовом отношении юного поэта. Однако о парижских встречах с Гумилевым в этой главе амфитеатровской книги ничего не говорится.

Представляется, что не лишне будет сделать несколько замечаний по поводу некоторых деталей, упомянутых в этих мемуарах. Например, Амфитеатров говорит о Петроградском союзе поэтов. Союз был основан в 1920 г. по инициативе из Москвы, откуда специально был послан в Петроград большевистский эмиссар — поэтесса Надежда Павлович. Первое организационное заседание состоялось в помещении «Вольной философской ассоциации» (Вольфила) 27 июня 1920 г. Общее собрание поэтов Петрограда состоялось 4 июля. Председателем Союза поэтов был избран Блок. Но вскоре начались, а к осени обострились разногласия между Блоком и Гумилевым. 5 октября Блок снял с себя должность председателя. Председателем стал Гумилев, и таким образом большевистское влияние на Петроградский Союз поэтов было временно приостановлено и, во всяком случае, ослаблено.

И еще одно заключительное замечание. Депутация, направившаяся в Чека хлопотать за Гумилева (о чем рассказывает в этих воспоминаниях Амфитеатров), состояла из поэта Н. Оцупа, востоковеда-буддолога С. Олденбурга, писателя Н. Волковыцкого и весьма известного в то время критика А. Волынского.

Вадим Крейд.

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ *Вечер у Анненского (Отрывок)*

В Царское Село мы приехали с одним из поздних поездов. Падал и таял снег, все было черное и белое. Как всегда, в первую минуту удивила тишина и показался особенно чистым сырой, сладковатый воздух. Извозчик не торопился. Город уже наполовину спал и таинственнее, чем днем, была близость дворца: недоброе, неблагоприятное что-то происходило в нем — или еще только готовилось, — и город не обманывался, оберегая пока было можно свои предчувствия от остальной беспечной России. Царскоселы все были чуть-чуть посвященные и как будто связаны круговой порукой.

Кабинет Анненского находился рядом с передней. Ни один голос не долетал до нас, пока мы снимали пальто, приглаживали волосы, медлили войти. Казалось, Анненский у себя один. Гости, которых он ждал в этот вечер, и Гумилев, который должен был поэту нас представить, видимо, еще не пришли.

Дверь открылась. Все уже были в сборе. Но молчание продолжалось. Гумилев оглянулся и встал нам навстречу. Анненский с какой-то привычной, механической и опустошенной любезностью, приветливо и небрежно, явно отсутствуя и высокомерно позволяя себе роскошь не считаться с появлением новых людей, — или понимая, что именно этим он сразу выдаст им «диплом равенства», — Анненский протянул нам руку.

Он уже не был молод. Что запоминается в человеке? Чаще всего глаза или голос. Мне запомнились гладкие тускло сиявшие в свете низкой лампы волосы. Анненский стоял в глубине комнаты, за столом, наклонив голову. Было жарко натоплено, пахло лилиями и пылью.

Как я потом узнал, молчание было вызвано тем, что Анненский только что прочел свои новые стихи.

«День был ранний и молочно-парный.
Скоро в путь...»

Гости считали, что надо что-то сказать, и не находили нужных слов. Кроме того каждый сознавал, что лучше хотя бы для виду задуматься на несколько минут и замечания свои сделать не сразу: им больше будет весу. С дивана в полутьме уже кто-то поднимался, уже повисал в воздухе какой-то витиеватый комплимент, уже благосклонно шурился поэт, давая понять, что ценит, и удивлен, и обезоружен глубиной анализа, — как вдруг Гумилев нетерпеливо перебил:

— Иннокентий Федорович, к кому обращены ваши стихи? Анненский, все еще отсутствуя, улыбнулся:

— Вы задаете вопрос, на который сами же хотите ответить... Мы вас слушаем.

Гумилев сказал:

— Вы правы. У меня есть своя теория на этот счет. Я спросил вас, кому вы пишете стихи, не зная, думали ли вы об этом... Но мне кажется, вы их пишете самому себе. А еще можно писать стихи другим людям или Богу. Как письма.

Анненский внимательно посмотрел на него. Он уже был с нами.

— Я никогда об этом не думал.

— Это очень важное различие... Начинается со стиля, а дальше уходит в какие угодно глубины и высоты. Если себе, то в сущности ставишь только условные знаки, иероглифы: сам все разберу и пойму, знаете, будто в записной книжке. Пожалуй, и к Богу то же самое. Не совсем, впрочем. Но если вы обращаетесь к людям, вам хочется, чтобы вас поняли, и тогда многим приходится жертвовать, многим из того, что лично дорого.

— А вы, Николай Степанович, к кому обращаетесь вы в своих стихах?

— К людям, конечно, — быстро ответил Гумилев.

Анненский помолчал.

— Но можно писать стихи и к Богу... по вашей терминологии... с почтительной просьбой вернуть их обратно, они всегда возвращаются, и они волшебнее тогда, чем другие... Как полагаете вы, Анна Андреевна? — вдруг с живостью обернулся он к женщине, сидевшей вдалеке в глубоком кресле и медленно перелистывавшей какой-то старинный альбом.

Та вздрогнула, будто испугавшись чего-то. Насмешливая и грустная улыбка была на лице ее. Женщина стала еще бледней, чем прежде, беспомощно подняла брови, поправила широкий шелковый платок, упавший с плеч.

— Не знаю.

Анненский покачал головой.

— Да, да... «есть мудрость в молчании», как говорят. Но лучше ей быть в слове. И она будет.

Разговор оборвался.

— Что же, попросим еще кого-нибудь прочесть нам стихи, — с прежней равнодушной любезностью проговорил поэт.

ЛЕОНИД СТРАХОВСКИЙ *Рыцарь без страха и упрека (Памяти Н.С.Гумилева)*

Петербург. Апрель 18-го года. В Тенишевском училище давалось «Литературное Утро» с выступлениями Блока, Гумилева, недавно вернувшегося в Россию из-за границы, Георгия Адамовича, Георгия Иванова, Леонида Каннегиссера, которому в августе суждено было убить Урицкого,

и других поэтов. Но главным аттракционом было первое публичное декламирование «Двенадцати» Блока его женой, после которого должен был выступить сам Блок.

Зал был переполнен, что для полуголодной бывшей столицы было исключением. Сначала выступала «меньшая

братия». Их слушали вежливо, но снисходительно. Помню, один только Каннегиссер, красивый, стройный, в форме вольноопределяющегося, вызвал продолжительные аплодисменты. Но вот на эстраде Любовь Дмитриевна. Зал насторожился после первых же слов. Чувствовалась почти электрическая сгущенность атмосферы. И когда, понизив голос до театрального шепота, артистка произнесла последние слова поэмы: «В белом венчике из роз, впереди — Иисус Христос», в зале разразилась буря. Одни — дико аплодировали и кричали «браво», другие — свистели, шикали и топали ногами. И чем ожесточеннее аплодировали одни, тем упорнее шумели другие.

За эстрадой, в артистической, Блок, бледный, нервно-трясующийся, прислушивался к бедламу в зале. Ему была пора выходить, но он неверными губами повторял: «Нет, нет, не могу, не пойду». Тогда к нему подошел Гумилев и сказал: «Эх, Александр Александрович, написали, так признавайтесь, а лучше бы и не написали». И пройдя мимо оторопевшего Блока, он не спеша поднялся по ступенькам лестницы и вышел на эстраду навстречу людскому хаосу. Он

стоял спокойно, выдержанно, как в свое время он стоял под пулями и орудийным огнем, и ждал. Постепенно шум улегся, и Гумилев начал читать свои персидские газели. Наконец, выступил и Блок, после того как людские страсти были утишены спокойствием и бесстрашием последнего «рыцаря» русской поэзии.

По окончании «Утра» я шел с Гумилевым по аллеям Летнего Сада. Было тихо и пустынно. С Марсова Поля доносились редкие звонки трамваев. С Невы дул все еще холодноватый, но уже весенний ветер. А мраморные, посеревшие от времени статуи казались слишком голыми в опустелом саду. Я читал ему свои стихи. Он слушал внимательно и, когда хвалил, говорил: «Это хорошо! Запоминается». И тут он по памяти повторял понравившиеся ему строчки. А когда критиковал, то приводил свои доводы и пояснял их. Он был настоящим учителем, «мэтром». Увы, это было нашим последним свиданием. Мне вскоре пришлось бежать из красного Града Петра, а он остался, чтобы три года спустя, 25-го августа 1921 г., встретить смерть от руки палача.

ЭРИХ ГОЛЛЕРБАХ

Из воспоминаний о Н.С.Гумилеве

Неисправимый романтик, бродяга-авантюрист, «конквистадор», неутомимый искатель опасностей и сильных ощущений — таков был он.

Многие зачитываются в детстве Майн-Ридом, Жюлем Верном, Густавом Эмаром, но почти никто не осуществляет впоследствии, в своей «взрослой» жизни, героического авантюризма, толкающего на опасные затеи, далекие экспедиции.

Он осуществил. Упрекали его в позерстве, в чудачестве. А ему просто всю жизнь было шестнадцать лет. Любовь, смерть и стихи. В шестнадцать лет мы знаем, что это прекраснее всего на свете. Потом — забываем: дела, делишки, мелочи повседневной жизни убивают романтические «фантазии». Забываем. Но он не забыл, не забывал всю жизнь.

Из-за деревьев порою не видел леса: стихи заслоняли поэзию, стихи были для него дорожке поэзии. Он делал их — мастерил.

Мои первые воспоминания о Николае Степановиче относятся к той поре, когда он был учеником Царскосельской Николаевской гимназии, а я учеником Реального училища в том же Царском Селе. Вернее, от этого времени у меня сохранились не воспоминания, а мимолетные и смутные впечатления — лично знакомы мы тогда не были. Он уже кончал гимназию, имел вполне «взрослое» обличье, носил усыки, франтил — я же был еще малышом. Гумилев отличался от своих товарищей определенными литературными симпатиями, писал стихи, много читал. В остальном он поддерживал славные традиции лихих гимназистов — прежде всего усердно ухаживал за барышнями. Живо представляю себе Гумилева, стоящего у подъезда Марининской женской гимназии, откуда гурьбой выбегают в половине третьего розовощекие хохотушки, и «напевающего» своим особенным голосом: «пойдемте в парк, погуляем, поболтаем».

После гимназии — Париж, Сорбонна. Учился он мало, больше жуировал, по собственному признанию. В Россию вернулся рафинированный эстет, настроенный до чрезвычайности «бальмонтонно». Кажется, не было у него знакомой барышни, которой бы он не сообщал о своем желании «быть дерзким и смелым, из пышных гроздий венки свивать» и пр. Одна из наших общих знакомых рассказывала мне, как Н.С. вез ее куда-то на извозчике и полчаса настойчиво приглашал «быть как солнце».

Увлечение Бальмонтом очень заметно отразилось на ранних стихах Гумилева. Позже он вполне освободился от этого влияния, и Бальмонт для него стал чуть ли не синонимом дурного вкуса и пошлости, хотя больших заслуг поэта он никогда не отрицал.

На первых порах далеко не все литературные начинания Гумилева были удачны. Но он никогда не терялся, не падал духом. Это был необыкновенно самоуверенный и прямолинейный человек.

В одном из писем к N.N. (13 марта 1907 г., из Киева) А. А. Ахматова (тогда еще Горенко, не Гумилева) писала: «Зачем Гумилев взялся за «Сириус»? Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастий наш Микола перенес и все понапрасну! Вы заметили, что сотрудники почти все так же известны и почтенны, как я? Я думаю, что нашло на Гумилева затмение от Господа. Бывает.»

Выражения «известны» и «почтенны» нужно понимать здесь в ироническом смысле, так как Ахматова приобрела популярность позже Гумилева.

Неудачи и насмешки не могли смутить Н.С. — в нем самом было много иронии и к себе и к другим, и еще больше жадного интереса к жизни. Он любил в жизни все красивое, жуткое, опасное, любил контрасты нежного и грубого, изысканного и простого. Персидские миниатюры и картины Фра Беато Анжелико нравились ему не меньше, чем охота

на тигров. Если не ошибаюсь, единственное, к чему он был совершенно равнодушен, это — музыка. Он ее не любил и не понимал — не было «уха».

Повторяю, он влекся к страшной красоте, к пленительной опасности. Героизм казался ему вершиной духовности. Он играл со смертью, так же как играл с любовью. Пробовал топиться — не утонул. Вскрывал себе вены, чтобы истечь кровью, — остался жив. Добровольцем пошел на войну в 1914 г., не понимая,

... Как могли мы прежде жить в покое
И не ждать ни радостей, ни бед,
Не мечтать об огнезарном бое,
О рокошущей трубе побед...

Видел смерть лицом к лицу и уцелел. Шел навстречу опасности

И Святой Георгий дважды тронул
Пулею нетронутую грудь.

Одна лишь смерть казалась ему в ту пору достойной человека — смерть «под пулями во рвах спокойных».

Но смерть прошла мимо него, как миновала его и в Африке, в дебрях тропических лесов, в раскаленных просторах пустыни.

Увлекался наркотиками. Однажды попросил у меня трубку для курения опиума, потом раздобыл другую, «более удобную». Отравлялся дымом блаженного зелья. Многие смеялись над этими его «экспериментами».

Он же смеялся над современниками, благополучными обывателями. Отраду видел именно в том, что их только смешило. И закрепил это в стихах:

Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда,
Все, что смешит ее, надменную,
Моя единая отрада.

Затерянные, побледневшие ныне слова «победа, подвиг, слава» звучали в его душе «как грома медные, как голос Господа в пустыне».

Смеялись над ним: «Ну, что нового придумал наш изысканный жираф?..» «Изысканный жираф» смотрел на нас холодно своими раскосыми, блеклыми глазами, улыбался иронически и сухо, шутил, а в душе злился,

Как идол металлический
Среди фарфоровых игрушек.

Про него говорили: в Африке стрелял-стрелял, ни в одного носорога не попал; на войне стрелял-стрелял, ни одного немца не убил. Год тому назад стреляли в него... и попали...

Напряженно пытаюсь представить себе, как он умер, — и думаю: мужественно, с полным самообладанием. Не он ли уверял нас, что

Людская кровь не святее
Изумрудного сока трав?

— ... «И вот вся жизнь»... Она кончилась для него, многокрасочная, многозвучная жизнь, почти одновременно со смертью близкого ему собрата по перу, Александра Александровича Блока, — всего на несколько недель позже. Я не сравниваю их, я только указываю на это не случайное совпадение. Блок был велик, Блок был гениален. Он был Пушкиным нашей эпохи. В нем было нечто божественное, и — не побоюсь выговорить до конца — он был полубогом, как Петрарка, Данте, Гете.

Гумилев не был ни в каком смысле велик. И не был гениален. Он был по характеру своего дарования полным антиподом Блока. Блок вещал, Гумилев придумывал, Блок творил, Гумилев изобретал, Блок был художником, артистом, Гумилев был maitre'ом, мастером. Блок был больше поэтом, чем стихослагателем. Гумилев был версификатором *pur sang*, филологом *par excellence*. Будучи антиподами, полюсами одного и того же сфероида, они не могли не погибнуть почти одновременно. Ничего не значит, что между ними не было почти никакой внутренней связи: бывает связь по формальной необходимости, не менее прочная. Очень мало связи между цветком и пчелой, питающейся его соком, между кротом и солнцем. Но пчела питается соком цветка, но крот выползает по утрам из своей норы глядеть на восходящее солнце. Сладкая кровь цветка сохраняется в даре мудрых пчел. И в глазах даже мертвого крота отражается лучезарное солнце. ... Вспоминаю, Гумилев говорил мне о Блоке: «Он лучший из людей. Не только лучший русский поэт, но и лучший из всех, кого я встречал в жизни. Джентльмен с головы до ног. Чистая, благородная душа. Но — он ничего не понимает в стихах, поверьте мне.»

В этом — все, отсюда произрастают все параллели между Блоком и Гумилевым. Первый был влюблен в поэзию и, в сущности, равнодушен к стихам. Второй — наоборот. Мы не знаем, что происходит в мире тайных сил, в сфере неведомых событий. Может быть, та самая коса, которая скосила Блока, рукояткой своей ударила насмерть Гумилева; может быть, смертный час Блока — круглый, белый, как бильярдный шар, страшный и странный своей совершенной законченностью, гладким своим безличием — этот шаровидный час — этот смертельный шар, убив Блока, рикошетом убил Гумилева.

И оба знали, оба предсказали, как умрут.

Блок предсказал, что умрет у себя в постели:

... просто в час тоски беззвездной,
В каких-то четырех стенах,
С необходимостью железной
Усну на белых простынях.

И предвидел свои похороны:

Божья Мать «Утоли мои печали»
Перед гробом шла, светла, тиха.
А за гробом в траурной вуали
Шла невеста, провожая жениха...

Был он только литератор модный,
Только слов кощунственных творец...

Шла за гробом Блока — жена его, шла мать. Но и невеста шла — Пречистая София — Мудрость. И если для встреч-

ных, для прохожих, «был он только литератор модный», то для нее, Софии, это был жених. Прекрасный жених. Светлый рыцарь.

И навстречу кланялись, крестили
Многодумный, многотрудный лоб.
А друзья и близкие пылили
На икону, на нее, на гроб...

... И венок случайный за венком...

Смерть в постели. Гроб. Венки. Но прислушайтесь к другим словам, к этим уверенным, поступательным, мужественным анапестам с перебивающимся от ликующего волнения ритмом:

И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще,
Чтоб войти не во всем открытый,
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь
И блудница крикнут — вставай...

Не было не только «врача и нотариуса», не было близких, родных... В последний, единственный час жизни — никого близкого. Вздогнул ли он, зарыдал ли? Может быть, молча молился, вспоминая вещи свои слова:

Я носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть...

Вспоминается мне его голос — густой, какой-то тягучий и хмельной, прыгающий от низких баритональных нот к высоким, почти пискливым. Размерно, точно скандируя, он говорил «с чувством, толком, расстановкой»: «нужно всегда идти по линии наибольшего сопротивления. Это мое правило. Если приучить себя к этому, ничто не будет страшно».

Он и шел по линии наибольшего сопротивления, действуя, где нужно, локтями, наступая на ноги (говорю, конечно, метафорически). И потому имел немало недоброжелателей, почти врагов.

Возвращаюсь к личным воспоминаниям. В 1920, 1921 гг. мы встречались с Н.С. многократно в Доме Литераторов, во «Всемирной Литературе». Беседовали обычно на литературные темы, о новых книгах, о критике. Однажды у нас завязался длинный разговор о Розанове, из которого выяснилось, что Н.С. не ценит, не любит и, по-моему, не понимает этого писателя. Но некоторые суждения Гумилева казались мне верными и меткими. Так об одном аккуратнейшем, механическом человеке, проповедующем «иннормизм» и бунтарство, Гумилев сказал: «Служил он в каком-то учреждении исправно и старательно, вдруг захотелось ему бунтовать; он посоветовался с Вяч. Ивановым, и тот благословил его на бунт; и вот стал К.А. бунтовать с 10-ти до 4-х, так же размеренно и безупречно, как служил в своей канцелярии. Он думает, что бунтует, а мне зевать хочется».

Гумилев не выносил критиков «семинарского» или «народнического» типа. «Знаете, — говорил он, — еще не так давно было два рода критиков; одни пили водочку, пели

«Gaudeamus igitur» и презирали французский язык, другие читали Маларме, Метерлинка, Верлена и ненавидели первых за грязное белье и невежество. Так вот, честные народники — просто навоз, сейчас уже никому не нужный, а из якобы «прогневших» декадентов вышла вся сегодняшняя литература».

Осенью 1920 г. мы встречались с Н.С. в «Доме Отдыха» (б. Чернова) на правом берегу Невы. Тут, наблюдая его в смешанном обществе рабочих, литераторов и «буржуазных» барышень, я удивлялся переменчивости его тона и всего поведения. С рабочими он вовсе не разговаривал, не замечал их (хотя выступал перед ними на эстраде Дома Отдыха со стихами, не имевшими большого успеха). С литературными собратьями он держался холодно, почти высокомерно, разговаривал ледяным тоном, иногда «забывал» здороваться.

С барышнями возился много и охотно, не в переносном, а в буквальном смысле: заставлял их визжать и хохотать до упаду, читал им стихи без конца, бегал с ними по саду и пр. Словом, ему было «шестнадцать лет».

Лично у меня сложились с Н.С. простые и добрые отношения — их нельзя назвать дружбой, но мне кажется, в них была доля искренней симпатии и уважения. Оба мы были царскоселы, оба очень любили И.Ф. Анненского. Политические убеждения Н.С. не были мне известны, да я ими и не интересовался. Только после смерти его я узнал, что он склонялся к монархическому строю, но говорил шутя, что непременно хотел бы иметь императрицу, а не императора.

В ноябре 1920 года я поместил в «Вестнике Литературы» статью о Н.С. по поводу 15-летия его литературной деятельности. Статья ему понравилась, мое замечание о его «бодлеризме» показалось ему очень правильным. Вообще за эту статью он благодарил меня горячо и сердечно.

Спустя некоторое время я написал «портрет» Гумилева и дал ему прочесть.

Привожу эти стихи.

Далеко, далеко на озере Чад
Изысканный бродит жираф...
«И я в родне гиппопотама...»
Я простой индеец, задремавший
В священный вечер у ручья...
Вижу свет на горе Фаворе
И безумно тоскую я...

Не знаю, кто ты — набожный эстет
Или дикарь, в пиджак переодетый?
Под звук органа или кастаньет
Слагаешь ты канцоны и сонеты?
Что, если вдруг, приняв Неву за Ганг,
Ты на фелуке уплывешь скользящей
Или метнешь свистящий бумеранг
В аэроплан, над городом парящий?
Тебе сродни изысканный жираф?
Гиппопотам медлительный и важный,
И в чаще трав таящийся удав,
И носорог свирепый и отважный.
Они нашли участие и приют
В твоих стихах узорных и чеканных.
И мандрагоры дышут и цветут

В созвучьях одурманенных и странных.
 Но в голосе зловещем и хмельном,
 В буддоподобных очертаньях лика
 Сокрытая тоска о неземном
 Глядит на нас растерянно и дико.
 И как порыв к иному бытию.
 Как зов нетленный в темном мире тленья,
 Сияют в экзотическом рау
 Анжелико безгрешные виденья.
 И перед ними ниц склонясь, поэт
 На каменном полу кладет поклоны,
 Сливая серых глаз холодный свет
 С коричневатым сумраком иконы.

«Портрет, портрет и очень похожий портрет, — воскликнул Н.С., прочитав эти стихи. — Вы, вероятно, заметили во мне сочетание экзотики и православия»...

Словом, у Н.С. не было причин быть мною недовольным. Но вот случился казус, сразу омрачивший наши отношения.

Я напечатал рецензию о сборнике «Дракон», в которой не очень почтительно обошелся с произведениями Гумилева. Иронический тон рецензии подействовал на Н.С. как личное оскорбление. Он высказал мне свое неудовольствие в довольно резких выражениях. Так как разговор наш произошел при свидетелях (в столовой дома литераторов) и вскоре по Петербургу начали циркулировать «свободные композиции» на тему этого разговора, то я, по совету некоторых литературных друзей, обратился к суду чести при Петербургском Отделении Всероссийского Союза Писателей с просьбой рассмотреть происшедшее столкновение, которое представляло не только личный, но и принципиально-этический интерес. Помню, что Н.С. заявил мне, что рецензия «гнусная», что я задел в ней г-жу Ирину Одоевцеву (по совести, рецензия была написана без всякой задней мысли),

что я «не джентльмен». «Уверяю вас, — сказал Н.С., — что отныне ваша литературная карьера окончена, потому что я буду Вам всюду вредить и во всех изданиях, где вы работаете, буду настаивать на том, чтобы вас не печатали, — во всяком случае вместе со мной.» Вскоре Н.С. действительно обратился к ныне покойному А.Е. Кауфману, редактору «Вестника Литературы», с таким требованием, но не встретил сочувствия, и стихи его появились в №4-5 «Вестника» вместе с моей статьей (памяти А.А. Измайлова).

Н.С. сначала отказался явиться на суд чести, но потом его уговорили А.Л. Вольнский и др. Этот суд чести, состоявший из А.Ф. Кони (председ.), В.П. Миролюбова, А.М. Ремизова и Вл. Каронина (Комарова), вынес резолюцию, как и полагается суду чести, двойственную и потому безобидную. Моя статья была признана действительно резкой и способной возбудить неудовольствие Гумилева, но было также признано, что она не давала Гумилеву основания употреблять при объяснении со мной обидные выражения. Кажется, Н.С. остался очень доволен приговором: при встрече со мной (мы после этого события «разнакомимись») он улыбался победоносно и насмешливо.

Летом 1921 года я потерял Гумилева из виду, а в августе на похоронах Блока узнал, что он арестован. Приблизительно в это же время я написал для «Жизни Искусства» рецензию о новой книжке Гумилева «Шатер» и опять ироническую («Путеводитель по Африке»). На этот раз было не до шуток. Я справился в редакции об этой рецензии и, узнав, что она, по-видимому, пойти не может, успокоился. В конце августа, к великой досаде моей, рецензия о «Шатре» откуда-то выплыла и появилась в «Жизни Искусства».

В тот же самый день, когда она была напечатана, я обратил внимание на необычно большие скопления людей перед расклеенными на улице газетами. Подошел, взглянул в «Правду» и весь похолодел: Н.С. расстрелян...

АЛЕКСАНДР АМФИТЕАТРОВ Н.С.Гумилев

Деятели советской революции любят сравнивать свою сокрушительную работу с Великой Французской революцией, хотя, конечно, не забывают прибавить при этом: мы, нынешние, много превосходнее! Надо отдать им справедливость: отчасти правы. Если в их активе нет вдохновенных и могучих Мирабо, Дантонов, Демуленов, то злобными Маратиками, бесстыжими Гебериками и холодно жестокими фанатиками Робеспьерова толка — хоть пруд пруди. По числу жертв русская революция-пародия тоже давно превзошла свою грозную предшественницу. Она не воздвигала гильотины, но ее расстрелы имели своих Лавузь и Кондорсе, а уж сколько таковых уморено голодом и холодом, — это и подсчету не поддается. Для совершенства пародии коммунистам не доставало только Андре Шенье. Трагическая смерть Александра Блока лишь отчасти заполнила этот серьезный пробел, потому что, хотя наш дорогой поэт умер от болезни сердца, развившейся в результате голодной цинги, но все же не в тюрьме и не «у стенки». Прожил бы подольше — дождался бы. Потому что его короткое увлечение вихрем

коммунистической революции в 1917 г. и в начале 1918-го, неосторожными плодами которого явились пресловутые «Двенадцать» и «Катилина» быстро прошло и мало по малу переродилось в ужас и отвращение. Одной из причин тяжелого психического расстройства, в котором провел он последние недели страдальческой жизни, было именно раскаяние в «Двенадцати»: он беспрестанно говорил о том и в светлые промежутки, и в бреду. Перед смертью он потребовал, чтобы были уничтожены его рукописи. Супруге его, Любови Дмитриевне, удалось спасти только наброски первых его юношеских начинаний. Он завещал не принимать никакой услуги от окровавленного мучителя-Смольного и воля его была исполнена. Сколько лже-пролетарское государство ни старалось примазаться к священной памяти поэта, — не удалось ему. Блока похоронили за свой счет литературные организации, они же водружают памятную доску на доме, где он умер, памятник на могиле ставит семья. Все правительственные предложения по этим услугам были вежливо, но решительно отклонены.

Теперь, к глубокому сожалению, пустое место кровавой пародии заполнено. Русская революция получила своего Андре Шенье. Русская поэзия опять облеклась в траур. Расстрелян Николай Степанович Гумилев.

Когда его, месяц тому назад, арестовали, никто в петроградских литературных кругах не мог угадать, что сей сон означает. Потому что, — казалось бы, — не было в них писателя, более далекого от политики, чем этот цельный и самый выразительный жрец «искусства для искусства». Гумилев и почитал себя, и был поэтом не только по призванию, но и, так сказать, по званию. Когда его спрашивали незнакомые люди, кто он таков, от отвечал — «я поэт», — с такою же простотой и уверенностью обычности, как иной обыватель скажет — «я потомственный почетный гражданин», «я присяжный поверенный», «я офицер» и т.п. Да он даже и в списках смертников «Правды» обозначен, как «Гумилев, поэт». Поэзия была для него не случайным вдохновением, украшающим большую или меньшую часть жизни, но всем ее существом; поэтическая мысль и чувство переплетались в нем, как в древнегерманском мастерзингере, с стихотворским ремеслом, — и недаром же одного из основанных им поэтических товариществ носило девиз «Цех поэтов». Он был именно цеховой поэт, то есть поэт и только поэт, сознательно и умышленно ограничивший себя рамками стихотворного ритма и рифмы. Он даже не любил, чтобы его называли «писателем», «литератором», резко отделяя «поэта» от этих определений в особый, магически очерченный, круг, возвышенный над миром, на подобие как бы некоего амвона. Еще не так давно мы, — я и он, — всегда очень дружелюбные между собой, — довольно резко поспорили об этом разделении в комитете Дома Литераторов, членами которого мы оба были, по поводу неперемного желания Гумилева ввести в экспертную комиссию этого учреждения специального делегата от Союза Поэтов, что мне казалось излишним. А однажды — на мой вопрос, читал ли он, не помню уж, какой, роман, — Николай Степанович совершенно серьезно возразил, что он никогда не читает беллетристики, потому что, если идея истинно художественна, то она может и должна быть выражена только стихом... Он был всегда серьезен, очень серьезен, жречески важный стихотворец-герофант. Он писал свои стихи, как будто возносил на алтарь дымящуюся благоуханием жертву богам, и вот уж кто истинно то мог и имел право сказать о себе:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв...

Всем своим внутренним обликом (в наружности между ними не было решительно ничего общего) Гумилев живо напоминал мне первого поэта, которого я, еще ребенком, встретил на жизненном пути своем: безулыбочного священнодейца Ап.Ник.Майкова... Другие мотивы и формы, но то же мастерство, та же строгая размеренность вдохновения, та же рассудочность средств и, при совершенном изяществе, некоторый творческий холод... Как Майков, так и Гумилев принадлежали к типу благородных, аристократических поэтов, неохотно спускавшихся с неба на землю, упорно стоявших за свою привилегию говорить глаголом богов. Пушкин рассказывает о ком-то из своих сверстников,

что тот гордо хвалился: — В стихах моих может найтись бессмыслица, но проза — никогда! Я думаю, что Гумилев охотно подписался бы под этой характеристикой.

Арест человека, столь исключительно замкнутого в своем искусстве, возбудил в недоумевающем обществе самые разнообразные толки. Тогда шла перерегистрация военных «спецов», — думали, что Гумилев попал в беду, как бывший офицер, который скрывал свое звание. Другие полагали, что он арестован, как председатель Клуба поэтов за несоблюдение каких-то формальностей при открытии этого довольно странного учреждения, принявшего к тому же несколько слишком резвый характер. Принадлежности поэта к какому-нибудь заговору никто не воображал. Не верю я в нее и теперь, когда он расстрелян, как будто бы участник заговора. И не верю не только потому, что быть политическим заговорщиком было не в натуре Гумилева, но и потому, что скажу откровенно, если бы Гумилев был в заговоре, я знал бы об этом. Сдержанный и даже скрытный вообще, он был очень откровенен со мной именно в политических разговорах по душам, которые мы часто вели, шагая вдвоем по Моховой, Симеоновской, Караванной, Невскому, сокрушаясь стыдом и горем, что умирающему Петрограду не достает сил, энергии, героизма, чтобы разрушить постылый «существующий строй...»

Мы не были политическими единомышленниками. Напротив. Мой демократический республиканизм был ему не по душе. Как-то раз, я шутя, напомнил ему, что Платон, в своей идеальной утопии государства, советовал изгнать поэтов из республики. — Да поэты и сами не пошли бы к нему в республику, — гордо возразил Гумилев. Он был монархист — и крепкий. Не крикливый, но и несколько не скрывающийся. В последней книжке своих стихов, вышедшей уже под советских страхом, он не усумнился напечатать маленькую поэму о том, как он, путешествуя в Африке, посетил порока-полубога «Махди», и —

Я ему подарил пистолет
И портрет моего Государя...

На этом, должно быть, и споткнулся он, уже будучи под арестом. Что арестовали его не как заговорщика, тем более опасного, важного, достойного расстрела, есть прямое доказательство. Депутация Профессионального Союза Писателей, недели через две после ареста, отправилась хлопотать за Гумилева. Председатель Чрезвычайки не только не мог ответить, за что взят Гумилев, но даже оказался не знающим, кто он такой...

— Да чем он, собственно, занимается, ваш Гумилевич?

— Не Гумилевич, а Гумилев...

— Ну?

— Он поэт...

— Ага? значит, писатель... Не слышать... Зайдите через недельку, мы наведем справки...

— Да за что же он арестован-то?

Подумал и... объяснил:

— Видите ли, так как теперь, за свободой торговли, причина спекуляции исключается, то, вероятно, господин Гумилевич взят за какое-нибудь должностное преступление...

Депутации оставалось дико уставиться на глубокомысленного чекиста изумленными глазами: Гумилев нигде не служил, — какое же за ним могло быть «должностное преступ-

ление»? Аполлону, что ли, дерзостей наговорил на Парнасе?

Над удивительным свиданием и разговором этим мы много смеялись в Петрограде, никак не предчувствуя, что смех будет прерван пулями и кровью...

По всей вероятности, Гумилеву на допросе, как водится у следователей ЧК был поставлен названный вопрос о политических убеждениях. Отвильнуть от подобного вопроса каким-нибудь спасительным обиняком не составляет большой хитрости, но Гумилев был слишком прямолинеен для фехтования обиняками. В обществе товарищей республиканцев, демократов и социалистов он, без страха за свою репутацию, заявлял себя монархистом (хотя очень не любил Николая II и все последнее поколение павшей династии). В обществе товарищей атеистов и вольнодумцев, крестился на церкви и носил на груди большой крест-тельник. Если же на допросе следователь умел задеть его самолюбие, оскорбить его

тоном или грубым выражением, на что эти господа великие мастера, то можно быть уверенным, что Николай Степанович тотчас же ответил ему по заслуге — с той мнимой холодной, уничтожающей надменностью, которая всегда проявлялась в нем при враждебных столкновениях, родня его, как некий анахронизм, с дуэлистами-бреттерами «доброе, старого времени». И как офицер, и как путешественник, он был человеком большой храбрости и присутствия духа, закаленных и в ужасах великой войны, и в диких авантюрах сказочных африканских пустынь. Ну, а в чрезвычайных строптивцам, подобного закала не спускают. Ставили там людей к стенке и за непочтительную усмешку при имени Ленина или в ответ на провокаторский гимн следователя во славу Третьего Интернационала...

Почему такая великолепная теория уже столько лет приводит к совершенно противоположным результатам?

Ян Прохазка

*Плохие свойства человека как такового?
Плохие руководители? Плохие народы? Плохая история?
Может ли
централизованное в масштабах государства
производство и распределение
существовать с правами человека
и со свободным обращением
информации в обществе?
И ПОЧЕМУ МОЖЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ?*

На эти вопросы отвечает

КНИГА ДОРЫ ШТУРМАН

“НАШ НОВЫЙ МИР”

ТЕОРИЯ. ЭКСПЕРИМЕНТ. РЕЗУЛЬТАТ

Рукопись книги, циркулировавшая в Самиздате с начала 1970-х гг., была нелегально вывезена из СССР. Автор, выехавший вслед, издал ее в 1981 году, дополнив (спустя десять лет) новыми фактами и статистическими данными, которые убедительно показали достоверность “подпольного” анализа. Новое издание расширено и дополнено материалами 1980-х гг., еще более четко подтвердившими первоначальные прогнозы.

Объем книги — 460 страниц. Цена — 15 долларов (в Израиле — 20 шекелей). Пересылка: в Израиле — 1,4 шек.; в Европу и США морской почтой — 1,7 долл.; авиапочтой: в Европу — 2,5 долл., в США — 3,5 долл. Книгу можно получить, отправив чек по адресу:

S. Tictin, 422/6 Mizrakh Talpiot, Jerusalem 93802, Israel. Tel. 02-721633.

евгений наклеушев

К ОСМЫСЛЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ МОНОТЕИЗМА

Для начала, я — русский по национальности. Что касается религии, то, считая ее необходимой плодотворной почвой всякой культуры, я вынужден, однако, находить, что все современные религии пришли к рубежу истощения своей животворной мощи. В частности, все они вступили в противоречие, неразрешимое без крайних натяжек, с данными естественных наук, метафизически, правда, крайне неглубокими, но в высокой степени достоверными в собственных пределах. Рядом с этим следует указать, что ни одна из современных религий не дает ответа на вопрос вопросов современности: как восстановить нам умение наших предков жить с достоинством? Когда-то, заметим, каждая из культурных (и большинство «варварских») религий указывали путь к нравственному достойному бытию уже здесь, на земле, вполне внятным и недвусмысленным образом. Утрачивая это качество в изменившихся условиях, она уступала место другой религии. Сейчас известное число людей на Востоке и Западе пытаются удовлетворить инстинкты смены закосневшей религии, оставляя веру отцов и переходя в христианство из буддизма, в буддизм из христианства и т.д. и т.п. Увы, они только меняют одну закосневшую веру на другую, и только непривычность обрядов и доктрин этой последней затемняет на время это обстоятельство. В соответствии с этим, я не могу связать себя ни с одной из существующих религий. Я просто твердо, но решительно внеконфессионально верую в Бога, к которому, замечу, пришел от противного — от науки и размышления относительно ее ограниченности. Я даже дерзаю ут-

верждать, что доказал в своей книге «К единому знанию» бытие Бога (возможность какого-либо доказательства отвергается в Западной интеллектуальной традиции со времен Канта — что ж, мне остается только посочувствовать этой устарелой традиции) с наименьшей строгостью, чем были доказаны, например, первые теоремы древней Греции (ныне, конечно, эта строгость давно перестала казаться безупречной, но теоремы, ничего, стоят себе). Я отнюдь не горжусь своей довольно абстрактной, суховатой, лишенной обрядов и таинств «религией». Она слабо греет — но греет все же! — мою душу. Я вполне понимаю, что настоящая религия — буквально, «связь» — должна обращаться ко всем сторонам человеческой природы, чтобы действительно связывать самых различных людей с Богом и друг с другом в общем Его понимании и ощущении. Тем, кого удовлетворяет характер этой связи, обеспечиваемый традиционными религиями, я искренне завидую. Но религии эти обречены немолчаливыми сдвигами в духе времени и человеческих обстоятельствах. Человечеству никуда не уйти (разве в гибель) от необходимости открыть для себя Бога заново. Разумеется, гигантский опыт традиционных религий не будет при этом отброшен, но, как раз напротив, приобретет в сохранности, будучи синтезирован в единство, невиданная широта которого будет идти рука об руку с небывалой же цельностью. В этом смысле чаемая религия будущего будет более верна истине иудаизма, чем сам современный иудаизм, но по той же причине она будет и более истинным христианством, исламом,

буддизмом, даосизмом, синтоизмом и т.д. и т.п., дабы не перечислять сонминых, «меньших» или полузабытых верований, в каждом из которых человечество открыло кусочек правды о Боге и Его отражении в мире.

Итак, ни по крови, ни по религии я евреем не являюсь. И все же я сознаю себя «евреем» в некотором — очень определенном, как постараюсь показать — смысле слова. В этом смысле, «евреями», независимо от того, способны ли они это понять, и нравится это им или нет, являются все иудеи, христиане и мусульмане вкупе с вышедшими из лоно этих религий атеистами, агностиками и богоискателями — и даже вместе с подавляющим большинством «вероотступников», перешедших по-видимости в новые конфессии.

Я не собираюсь «жидовствовать» и примазываться. Я сознаю свое «еврейство» не только как великую культурную силу, но и как роковое ограничение, которое должно преодолеть, но невозможно преодолеть полностью усилиями одного человека на протяжении единственной отпущенной ему жизни. Изучение индийской и особенно китайской культуры показало мне со всей ясностью, что «еврейство» отнюдь не столь универсально, как склонно себе приписывать. Но не уважать его, значит не уважать себя для более, чем половины человечества. И невозможно пытаться преодолеть в себе «еврейскую» ограниченность, не сознавая, что этим пытаешься преодолеть в себе ограниченность собственного способа культурного бытия. Я никому не собираюсь льстить и никого не хочу обидеть. То, что я хочу сказать, должно быть невыгодно никому в отдельности, но лишь Богу да горстке чудаков, заслуживающих звания бескорыстных ревнителей Его правды. Ибо все за себя, один Бог за всех.

Когда Гитлер сделал антисемитизм официальной политикой своего государства, он потребовал соучастия в этой политике немецких церквей. «Это абсурд, — возразил на это один из иерархов лютеранской церкви. — Мы все — семиты». То, что имел в виду этот мудрый немец, была, конечно, не «кровь», или гены — единственный фактор расообразования, признаваемый примитивным, физиологическим расизмом — но тот самый «еврейский фундамент, на христианской части

которого сложилась в органическое единство Европа, ранее разобщенная на носителей греко-римской культуры и германских, славянских и прочих варваров.

Этим «еврейским» фундаментом европейских и ближневосточных культур явилась идея монотеизма — идея единого Бога, пронизывающего своей животворящей силой весь видимый мир, но и надстоящего ему. Тесным коррелятором ее была идея абсолютного добра, с которым невозможно заключение сделки (по контрасту, сделка, через посредство жертвы и т.п., является одной из центральных идей языческих религий, во всяком случае, их популярных версий; у практических и законопослушных римлян было даже разработано специальное сакральное право, тщательнейше определявшее права и обязанности богов и верующих, в частности, даже пределы, в которых благочестивый искатель божеских милостей мог надувать своих божественных патронов!). Этому добру можно быть причастным, только служа ему в полную меру сил. Нынче, когда стало модно всюду в истории подчеркивать единства, а не различия, монотеистические тенденции без труда обнаруживают во всех развитых культурах и даже постулируют в начале примитивных культур, сводя практически на нет своеобразный вклад монотеизма еврейского. Верно, что последний развился отнюдь не на голом месте, не без иноплеменных влияний, и существовал вовсе не в гордом одиночестве. Стоит, однако же, оттенить и то, что «изначальный монотеизм», как бы мы ни относились к этой действительно интересной, но вызывающей бесконечные споры гипотезе, почему-то не удержался в господствующих верованиях нигде — кроме Израиля, а впоследствии — стран, подпавших под его религиозное влияние. Далее, что касается монотеистических тенденций развитых культур, то не следует упускать, во-первых, то, что в развитых культурах можно обнаружить в е с ь спектр мыслимых религиозных и философских тенденций, включая самые скандальные и разрушительные; во-вторых, что упомянутые монотеистические тенденции нигде, за исключением того же Израиля, не вышли за пределы эзотерических кружков, оставаясь непонятными и ненавистными народным массам доктринами. Инте-

ресно отметить, что самый термин «атеизм» прилагался в классической Греции к проповеди единого Бога — как отрицавшей традиционных богов. Наказанием за этот «атеизм» была смертная казнь.

Все сказанное, однако, вряд ли впечатлит непробиваемого атеиста, для которого монотеизм, политеизм и все их конкретные формы — равно бесполезный и бессмысленный бред. Только великое культурно-историческое невежество позволяет удерживаться на таких позициях. «Разве можно надеяться на что-нибудь хорошее в стране, где твоими соотечественниками являются мусульмане!» — пожаловался английскому офицеру титовский партизан. «Как, разве вы не атеист?» — удивился англичанин. «Разумеется, атеист! — отвечал партизан. — Только, знаете, атеисты из мусульман совсем другие люди, чем мы — с ними каши не сварить.» Это замечание простодушного и неученого, но элементарно наблюдательного человека лишний раз подтверждает идею религии как с в я з и, определяющей весь характер всякой культуры. Не существует «естественного» человека — за исключением наиболее элементарных безусловных рефлексов, инстинктивная природа человека до того расшатана и неустойчива, что человек не способен существовать иначе, как носитель той или иной культуры. Система культуры до мельчайших деталей определяется лежащим в ее основе мировоззрением. Наконец, как множество раз и в неисчислимых деталях показали историки и философы культуры, характер этого базового для каждой культуры мировоззрения полностью определяется господствующей в данной культуре религией. В частности, форма характерного для данной культуры атеизма целиком отражает структуру исходной религии, наподобие того, как негатив тождественен по форме позитиву. Потому-то атеисты из христиан не могут сварить каши с атеистами из мусульман. И в «атеизме» своим люди обречены оставаться христианами, мусульманами и пр. Есть только один способ выйти из связи своей религии — войти в связь религии иной. Как правило, такой переход может вполне завершиться только в течение нескольких поколений.

Воздадим, однако же, должное и атеистам. Уже давно было сказано, что атеизм есть диалектический момент в

развитии богопознания. Античный атеизм невольно подготовил переход множества языческих племен и народов к христианству. Ныне атеизм подготавливает почву для нового открытия Бога. Бог бесконечен, человек ограничен условиями пространства и времени. Идея полного и окончательного откровения человеку о природе Бога выглядит в свете сказанного абсурдной и кошунственной. И, нравится нам это или нет, «лучшее — враг хорошего». Переход от одной системы культуры и религии к иной не удастся через «совершенствование» первой (совершенствование как раз всегда идет рука об руку с консервацией совершенствуемого), но лишь через разрушение целостности первой, подготавливающей условия для созидания целостности нового порядка. Это разрушение — дело вовсе не благочестивое, но грубое и скандальное. Тут и пригождается атеизм с его разрушительным пылом.

Вернемся к дилемме монотеизма и политеизма. В 60-х годах в старый спор об «изначальном монотеизме» или отсутствии такового была внесена неожиданная нота. Появились работы, показавшие, что верования примитивных племен вообще не укладываются в строгую дихотомию монотеизма — политеизма. В условиях этих племен нет нужды в догматизации принятых ими верований (племенное бытие и без того достаточно устойчиво), что обуславливает чрезвычайную свободу верований и религиозной мысли. Так вот, обнаружилось, что здесь укладываются в «ортодоксию» и монотеистическая, и политеистическая тенденции, и что разные психологические типы избирают либо одну из них, либо другую.

Тем любопытнее, почему же с переходом к сложным и многолюдным социальным системам практически повсеместно религиозные представления были догматизированы именно в политеистическом ключе, и что обусловило уникальное исключение до конца развернутого иудаистского монотеизма? Можно думать, что одной из причин почти абсолютной победы на указанном этапе политеизма была категоричность требований к социальной нравственности, сопряженная с монотеистическим взглядом на мир. Характерно, что Гитлер ставил в вину еврейству, что оно навязало миру «химеру совести», подорвав таким образом «здоровые языческие ин-

стинкты» земли и крови, воли к могуществу и господству сильных над слабыми. Разумеется, Гитлер упрощал: такого беспримесно «здорового» в своей бессовестности политеизма не существовало в истории человечества нигде и никогда. Но тенденция указана им верно; и нетрудно согласиться, что свирепость архаических форм рабовладения, на котором в значительной степени держалась экономика первых сложных социальных систем, отнюдь не располагала к монотеизму. В иудаизме сохранились еще, впрочем, архаические тенденции национальной религиозной исключительности, существенно умерившие совесть по отношению к иноверцам-инородцам — гоям. Решающий шаг к приданию моральному императиву универсального значения был сделан дочерним иудаизмом христианством. Отсюда утверждение Пастернака, что история начинается только с христианством; прежде него, по Пастернаку, было только жизнерадостное свинство рябых Калигул. Упрощает, конечно, и Пастернак. История была и раньше, и история не вышла на финишную прямую с победой христианства. Был удивительной тонкости гуманизм конфуцианства и даосизма в Китае. Был «неотмирный», но не менее от того действенный в веках гуманизм буддизма (и много перенявшего у него индуизма, формально «победившего» буддизм в Индии). И была святейшая инквизиция и варфоломеевские ночи и многое прочее в этом духе, прикрывавшееся словесами о Христе кротчайшем. И все же нельзя не признать, что с христианством что-то преломилось в моральном климате воспринявших его стран. Трагизм человеческого бытия стал далеко не так безысходен. Медленно и прерывисто, но все-таки заметно быстрее, чем раньше, отношение человека к человеку стало теплеть. Существенно упрочился социальный статус добра. Если все благородство учений Сократа и Платона ничуть не препятствовало их соотечественникам убивать, когда они находили это нужным, собственных детей, если популярность сочинений Сенеки нимало не мешала сотням тысяч его сограждан наслаждаться резней гладиаторов в цирках, если вся утонченность китайского гуманизма не могла запретить выбрасывание на свалки новорожденных «лишних дочерей», если почти сверхъестественный гуманизм

индийской ахимсы — непричинения вреда в с е м у живому — уживался с практикой человеческих жертвоприношений в той же стране и ужасами кастовой дискриминации, то христианство решительно положило предел наиболее откровенным бытовым формам торжества зла, и постепенно суживало этот предел в столетиях.

Эта уникальная мощь христианства — и шире монотеизма вообще — в одолении зла связана с сопряженной с ним моделью мироздания и времени как однолинейного движения между полюсами добра и зла. Для политеизма вселенское бытие есть «вечное возвращение», время — кругообразное движение. Русское слово «время», кстати, буквально означает — вращение, ворот. Для монотеизма только раз имело место сотворение мира (тогда как в зрелых политеистических доктринах Китая и Индии идея сотворения мира полностью исчезает). Только раз состоялось грехопадение, только однажды произошло (или произойдет в еврейском мессианстве) искупление грехов человечества, и только однажды осуществится в конце времен царство Божие на земле. Однолинейно-полярно выстроены в мире добро и зло: овны — по правую сторону, козлища — по левую. Или в «атеистическом» истолковании той же монотеистической модели: добро устремлено «вперед», зло — «назад». Нельзя не заметить, что «секуляризированное» истолкование соотношения добра и зла, выражающееся в идее «прогресса», еще последовательнее проводит идею временной прямолинейности, чем первично-религиозное. Таким образом, каждый момент бытия оказывается приближающим нас к окончательной победе добра в финале истории, и каждое наше действие приобретает абсолютное — положительное или отрицательное — этическое значение, в зависимости от того, способствуем или препятствуем мы устремлению мироздания к торжеству блага. Удивительная — для непредвзятого наблюдателя — по своей оптимистической наивности и упрощенности модель! Удивительная, но в высшей степени действенная в протекшей истории.

Но, конечно, ограниченная модель действительности способна служить к ее улучшению только ограниченное же время. Не случайно, видимо, — уже с этой стороны — рождение и главные этапы развития античных культур были

сопряжены с политеистической моделью мира, нравственно менее выскательной, но куда более сложной и многоцветной в истолковании видимого мира. Не случайно и то, что христианское Западное средневековье при всей своей преданности Богу было самым диким во всей культурной Евразии, и только Возрождение, едва не восстановившее языческие культы античности, сообщило Западу могучий культурный импульс, поставивший его впереди всего мира. Важно отметить, что Возрождение внесло в душу Западной культуры раздвоение на христианскую и антично-языческую, так никогда и не синтезированные в единство, и что влияние античности постепенно и с перерывами с тех пор все увеличивалось.

Переупрощенная прямолинейная картина мира, сопряженная с монотеизмом, навязывает фанатизм, компрометирует гибкость и склонность к компромиссам, дисгармонизирует отношения людей, трагически заостряя конфликты. В мире, где мы живем, добро и зло переплетены друг с другом. Они соотносятся между собой так же, как, согласно формуле Никейского символа веры, соотносятся божественная и человеческая природа Христа: нераздельно и неслиянно. Монотеизм не располагает к усмотрению нераздельности добра и зла, но сверх меры акцентирует их неслиянность. Добро и зло для монотеизма субстанциональны, являются независимыми сущностями, имеющими корни в Боге и Дьяволе. Прямо напротив, для китайских и индийских философско-религиозных доктрин добро и зло равно коренятся в абсолютном, в котором они совпадают. Добро и зло есть суть здесь не субстанция, а о т н о ш е н и я несовершенного мира, поскольку он отчужден от всесовершенного и всегармоничного абсолютного. Так, свет и тьма, правое и левое, высокое и низкое, трактующиеся в монотеистической традиции как синонимы добра и зла, являются в китайской традиции проявлением универсальных начал ян и инь (покрывающих среди прочего дуализм мужественного и женственного), непосредственно вырастающих из абсолютного. Ни ян, ни инь не рассматриваются как добро и зло. Добро есть гармоничное их отношение. Зло есть их дисгармония. Каждая ситуация в мире существенно динамична, и добро с неизбежностью переходит в своем

переразвитии в зло, и обратно. Динамичны и взаимопереходящи и сами ян и инь, графически изображаемые как две волны, вытесняющие друг друга в общем круге, причем в самом средоточии каждого из них оказывается зародыш его «противоположности» («противоположность», с ее статическим звучанием, принадлежит монотеистической, субстанциональной традиции и является здесь дезориентирующим термином; правильной было бы говорить о ян и инь как «противонаправленностях»).

Еще острее несубстанциональность добра и зла выражается в индийской традиции, где видимый мир со всеми его противонаправленностями объявляется иллюзорным, а средоточием истины считается всеединый и неизменный абсолюте, трактуется ли он как Брахман индуизма, или как нирвана буддистов.

Если монотеистическую модель мира можно охарактеризовать как однолинейно-вертикальную — с Богом — абсолютом высоты, то Китай и Индия строят модель вселенной как круга, плоского в своем центре-абсолюте и утолщающегося к периферии — видимому миру, где мы живем. Это у р а в н о в е ш е н н а я в своей динамике модель мира, где невозможно говорить о «прогрессе» в традиционном для Запада смысле слова, т.е. об о д н о н а п р а в л е н н о м в о с х о д я щ е м движении. «Когда рождается мудрец, тогда появляется и большой разбойник», — говорит даосский текст, ставший в Китае пословицей. В Индии всевышние боги всецело принадлежат органическому единству вселенной, и, как все прочие существа, привязаны к колесу перерождений. В следующем рождении они могут стать насекомыми, и, таким образом, высота их положения преходяща и иллюзорна. Понимание абсолюта как чуждого высоте и любым другим полярностям делало Будду совершенно равнодушным к тому, верили ли его ученики в богов. Если боги существуют, то именно вследствие иллюзорной высоты своего положения в мире, их удел наименее благоприятен для спасения — слияния с плоскостью абсолюта.

Итак, одномерно-вертикальной модели вселенской динамики в монотеизме противостоит круговая модель Китая и Индии с, так сказать, «недо-

развитая — модель. Ее превосходство в степени сложности и приближения к реальности над монотеизмом колоссально! Разумеется, это теоретическое превосходство умеряется на практике тем, что мы чувствуем (когда позволяем себе) и подсознательно знаем неизмеримо больше, чем понимаем сознательно. Глубочайший из психоаналитиков, Юнг, утверждает, что изучение бессознательного любого отдельного человека развернуло бы все богатство мировых мифологий. И, однако, невозможно недооценивать важность сознательной концепции мира — тонкого, но о п р е д е л я ю щ е г о слоя нашего знания.

Все формы политеизма от примитивнейших до самых культурных и тщательнейше продуманных видят мир как единое ж и в о е целое. Монотеизм изгнал после многовековой борьбы с упрямым инстинктом, врожденным в каждом нормальном — и в подавляющем большинстве ненормальных — человеке, источник всего духовного за пределы видимого мира — к трансцендентному Богу — и умертвил природные стихии, и обездушил материю. Этим был сделан колоссальный шаг к позднему механицизму, атеизму и материализму. Нынче даже физики, столкнувшиеся в своих разработках с неисчерпаемой изощренностью организации материи, начинают понимать, что в каком-то, далеко неясном еще им самим смысле слова «живой» является каждая элементарная частица и весь мир. Черно-белая концепция добра и зла страшно обеднила душевный мир человека Запада, лишила его тонкости вкуса, ощущения цвета и т.д. и т.п. Безоглядная вера в «прогресс» до безумия разогнала темп движения во всех сферах жизни — и всюду толкает человека в безвыходный тупик, крах и катастрофу. Человек все более разучается жить в гармонии с миром и самим собой. Монотеизм с необычайной силой толкнул человека к поиску добра — индивидуального и социального. Беда только в том, что во внутренне связанной, во всем переплетенной и закругленной реальности прямолинейное движение чревато катастрофой («черт идет по прямой», — говорят китайцы) даже, если это движение нацелено на «добро». Паскаль, гениальный мыслитель и истовый христианин, понятия не имевший

в своем 17 веке о хитростях китайского и индийского мировоззрений, сказал, однако же, убедившись на собственном горьком опыте: «Человек не зверь и не ангел. Беда, однако, в том, что, пожелав стать ангелом, он превращается в зверя».

Ныне мы живем в мире, каждая часть которого более или менее вестернизирована, и, стало быть, «монотеизирована» в своем духе. И каждая часть мира стоит сейчас на пороге той или иной катастрофы, и весь мир стоит на пороге глобальных катастроф, связанных с загрязнением среды, убийством неисчислимых видов (к 2000 году нам обещают миллион (!) загубленных видов) — в тончайше сбалансированной биосфере! — перенаселением, ухудшением «качества жизни» и т.д. и т.п., не говоря уж о такой сравнительно нетрудно предотвратимой милости, как ядерная война! Человек должен круто свернуть с пути прямолинейного «прогресса», иначе за судьбу его нельзя будет поручиться более, чем за участь сумасшедшего пилота, вздумавшего летать на сверхзвуковой скорости в двух метрах над землей.

Это не значит, конечно, что мы должны броситься в объятия буддизма и даосизма. Если Запад слаб по части гармонии, то политеистический Восток не понимает идеи «прогресса» — а ее необходимо понять — хотя бы для того, чтобы справиться с ее неисчислимыми бедственными следствиями. Мир нуждается в органическом синтезе монотеизма и политеизма, идей прогресса и гармонии — просто для того, чтобы уцелеть. Мы, «евреи», поставили грандиозный эксперимент на теле и духе человечества — и многого достигли. Ныне вопрос стоит в том, как сохранить — и расширить — достигнутое. Ибо его нельзя сохранить, не расширив, и нельзя расширить, не сохранив.

Перечитав свою статью, я увидел, что она создает впечатление, что автор, начав во здравие, кончает за упокой. Наряду с неискренностью автора, в этом виновата непривычность того в высшей степени драматического взгляда на движение человечества, который, увы, имеет слишком объективные основания в бесконечности истины и ограниченности человека. Подтолкнутые иудейским монотеизмом, мы, «евреи», устремились к добру с массовой исто-

востью, известной ни одному из поли-теистических народов. Это был самый дон-кихотски смешной, наивный и нелепый — но и самый благородный эксперимент в истории. Достоевский, в котором рождалось новое, просветленное христианство и искала себя революционная религиозная мысль, на-

ходил образ Дон-Кихота самым прекрасным, что создало человечество, и лучшим оправданием ему. Этот эксперимент н у ж н о было поставить, он не м о г не быть поставлен рядом с гармонично-умудренным, но оцепенелым в последних столетиях Востоком. Вопрос, повторяю, в том, как сов-

местить благородный порыв Дон-Кихота с мудростью Будды и Лао-цзы.

Теоретические предпосылки этого синтеза я попытался разработать в моей книге «К единому знанию».

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

ВЫСТАВКИ, ВЫСТАВКИ, ВЫСТАВКИ...

● Апрель: персональная выставка Михаила Шемякина в Нью-Йорке, групповая экспозиция с участием русских парижан Оскара и Александра Рабиных, Олега Целкова, Владимира Чернышева, Вячеслава Савельева, Владимира Титова, Владимира Макаренко в Лиле, выставка троих (Виталия Длуги, Отари Шиукашвили и Юрия Кокоянина) в Вашингтоне.

● Май: персональная выставка Валентины Шапиро в Париже в «Галерее Мари-Терез», большая групповая экспозиция русских художников в католическом Центре западногерманского города Висбаден, выставка Валентины Кропивницкой, Оскара и Александра Рабиных в галерее Мельман под Дюссельдорфом.

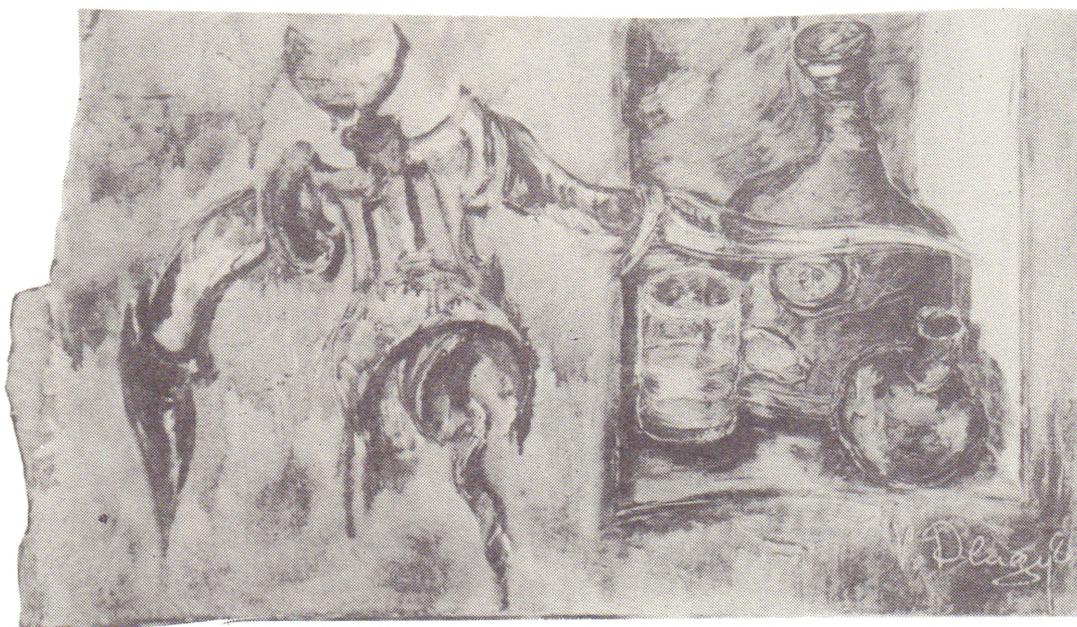
● В Музее современного русского искусства в изгнании в Джерси-Сити сейчас проходит экспозиция «Пять персональных выставок». Весь первый этаж, то есть три зала музея, занимают работы ньюйоркца Виталия Длуги, в четырех залах второго — экспонируются картины умершего в прошлом году Виталия Сазонова, акварели парижанина Вячеслава Савельева и москвича Игоря Снегура, полотна одессита Станислава Сычева.

По характеру своего творчества все эти художники весьма отличаются друг от друга, но их объединяет время — семидесятые годы. Именно в первой половине семидесятых они начинали, а к концу десятилетия сформировались как мастера.



Виталий Сазонов «Пантеистическая композиция», дерево/масло, 1980 г.

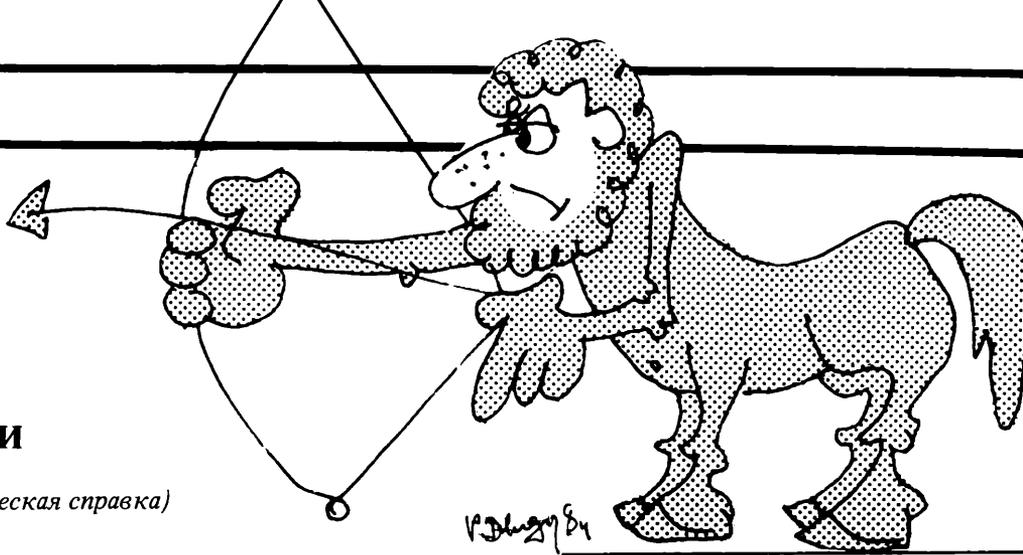
Виталий Длуги «Парижский натюрморт», орголит/масло, 1986 г.



ВИКТОР СОРОКИН

Как произошла
революция в Фингалии

(Историческая справка)



*Стачки, митинги и демонстрации –
Как свирепый морской пассат...
Фюрер взбешен – ревшитуация!
Надо срочно престол спасать!*

*На исходе четвертого вечера
Фюрер в Ставке толкает речь:
– По теории, мною намеченной,
Мы сумеем престол сбересть!*

*Раздаются хлыстом березовым
Переборы зловещих нот...
Председатель на стуле ерзает,
Холуи вытирают пот...*

*А наутро аншлаги розовы
Возвестили рождение дня
(Изуверским стихом – не прозой):
"Всем фингальцам приказ вождя:*

В П Р Е Д Ъ Н А З Ы В А Т Ь :

*Фингальский союз фашистов –
Партией коммунистов!
Мафии корпус, в частности,
Органами госбезопасности!
Меня, как наследника лорда, –
Вождем трудового народа!
Всех членов страны Фингалии –
Товарищами, и так далее...*

О Т Н Ы Н Е С Ч И Т А Т Ь :

*Фабрики, земли, заводы –
Собственностью народа!
Всех депутатов Фингалии –
Избранными голосованием!
Партии каждое слово –
Истиной для любого!
Грамотных и евреев –
Злодеями из злодеев!
Жители нашей Фингалии –
Имеют права! И так далее...*

С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О :

*На народных предприятиях
Забастовки прекратить!
О родной любимой партии
С уваженьем говорить!*

*Нет фашистов, нет разбойников,
Нет и классовых врагов!
А ученых да жидовников –
Вдоль восточных берегов!*

*Нужно золото и олово
Для клозетов и ракет –
Пусть себе ломают головы
От столицы вдалеке!*

*Чтоб идею не поганили,
Их отправим на погост!
За тебя, народ Фингалии,
Поднимаю этот тост!"*

*И о чудо свершилось вдруг –
Прекратились волненья вокруг.*

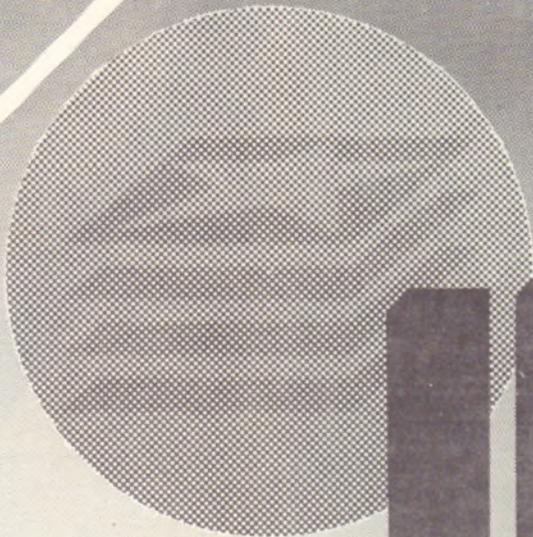
*"Бей жидов, спасай Фингалию!" –
Одурманивал фимиами,
И летели наук регалии
На Дудинку и в Магадан...*

*А потом втихаря, под сурдинку
Скопом – всех, к т о р а б о т а т ь м о г , –
В Магадан, Воркуту, на Дудинку,
Или просто – в фингальский острог...*

*Как легко коммунизм построить –
И всего-то: слова изменить!
А потом на развалинах Трои
Кто-то будет кого-то винить...*

20.01.76

NEW AMERICAN FEDERAL CREDIT UNION



- LOANS
- MONEY MARKET CHECKING AND SAVING ACCOUNTS
- CERTIFICATES OF DEPOSIT
- INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS
- ★ TOP RATES ON CD'S, CHECKING AND SAVING ACCOUNTS
- ★ LOW RATES ON MORTGAGES, PERSONAL AND AUTO LOANS
- ★ PROMPT, COURTEOUS SERVICE
- ★ HIGH YIELDING INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS

DEPOSITS ARE FEDERALLY INSURED BY THE NCUA UP TO \$100,000
DEPOSITS EXCEEDING \$100,000 ARE FULLY INSURED BY THE NDGC
NEW AMERICAN FEDERAL CREDIT UNION 201/353-0227
80 GRAND STREET, JERSEY CITY, NJ 07302

New American Federal Credit Union's sponsor organization is the Committee for the Absorption of Soviet Emigres (C.A.S.E.) — a multi-faceted human rights organization encompassing a number of programs throughout the United States and Europe. C.A.S.E. serves the needs of the Russian Jewish emigree.

CASE Museum of Russian Contemporary Art in Exile

ПЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК

ДЛУГИ
ВИТАЛИЙ

САВЕЛЬЕВ
ВЯЧЕСЛАВ

САЗОНОВ
ВИТАЛИЙ

СНЕГУР
ИГОРЬ

СЫЧЕВ
СТАНИСЛАВ

15 мая — 20 июня, 1987

Адрес музея: 80 Grand Str., Jersey City, N.J. 07302